

От лауреата Пулитцеровской премии

ЭЛИЗАБЕТ СТРАУТ

Когда все возможно



Элизабет Страут
Когда все возможно

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

Страут Э.

Когда все возможно / Э. Страут — «Эксмо», 2017

ISBN 978-5-04-093836-0

Новая книга Элизабет Страут, как и ее знаменитая «Оливия Киттеридж», – роман о потерянном детстве. Каждая история в нем – напряженная драма, где в центре – мрачное прошлое и почти беспросветное настоящее. Если детство прошло в домашнем аду, с отцом-насильником, как тяжело будет жить с этим секретом? Можно ли простить родную мать, не сумевшую защитить от жестокости? Одно неверно сказанное слово в детстве может вернуться бумерангом в настоящем, вызвав боль, стыд и отчаяние. Тайны, которые ты тщательно хранишь, в любой момент могут выплыть наружу. В «Когда все возможно» все герои находятся в зависимости от собственного прошлого, а настоящее расставляет ловушки.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-04-093836-0

© Страут Э., 2017
© Эксмо, 2017

Содержание

Вывеска	6
Ветряные мельницы	21
Вдребезги	37
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Элизабет Страут

Когда все возможно

*Посвящается моему брату
Джону Страуту*

Вывеска

Когда-то у Томми Гаптилла была молочная ферма, которую он унаследовал от отца. Она находилась примерно в двух милях от городка Эмгаш, Иллинойс. С тех пор прошло много лет, но и сейчас еще Томми просыпался порой среди ночи, охваченный тем же ужасом, какой испытал, когда дотла сгорели и его ферма, и дом. Тогда дул сильный ветер, и пламя мгновенно перекинулось с амбаров и коровников на жилые постройки. Виноват в случившемся был он сам – он всегда считал, что это именно так, – ведь в тот вечер он не удосужился проверить, отключены ли доильные аппараты, а именно из-за них и возник пожар. И, едва успев начаться, сразу разгорелся и стал с яростью пожирать все вокруг. Они лишились всего, уцелела только бронзовая рама от зеркала, висевшего в гостиной; эту раму Томми нашел на следующий день, роясь на пепелище, да так ее там и оставил. Соседи организовали сбор средств – пару месяцев дети Томми ходили в школу в одежде, позаимствованной у одноклассников; но потом Томми взял себя в руки и, собравшись с силами, как-то привел в порядок свои финансовые дела и продал землю соседу-фермеру, хотя особых денег это не принесло. Затем Томми с женой, маленькой хорошенькой женщиной по имени Ширли, смогли купить для себя и детей и новый дом, и новую одежду, и Ширли, надо сказать, все это время держала хвост пистолетом и вообще проявляла восхитительную стойкость духа. Но дом, к сожалению, они сумели купить только в Эмгаше, захудалом городишке, так что их детям теперь пришлось ходить в местную школу – раньше они учились в Карлайле, поскольку ферма Томми находилась как раз между Эмгашем и Карлайлом, где школа была гораздо лучше. Томми, недолго думая, устроился в эмгашской школе уборщиком, и эта спокойная и однообразная работа его совершенно устраивала; все равно наняться работником на чью-то чужую ферму он никогда бы не смог, да ему такое и в голову не приходило. В тот год ему исполнилось тридцать пять лет.

Теперь дети Томми давно стали взрослыми, и даже их собственные дети успели за это время повзрослеть, а Томми и Ширли по-прежнему жили в своем маленьком домике, буквально утопавшем в цветах, которые с самого начала стала сажать Ширли, что для их города было явлением весьма необычным. После пожара Томми больше всего беспокоился о своих детях, жизнь которых столь резко изменилась и стала куда менее благополучной. Если раньше дом и ферма были предметом их гордости и служили местом ежегодных школьных экскурсий – например, пятиклассники карлайльской школы каждую весну целый день проводили у них на ферме, завтракали на свежем воздухе за деревянными столами, затем посещали коровники и наблюдали за тем, как доят коров и белое пенное молоко течет по прозрачным пластмассовым трубкам, – то теперь их семья жила в Эмгаше, и детям было не слишком приятно видеть, как их отец без конца возит по полу шваброй, собирая грязь и пыль, которая «волшебным образом» тут же собирается снова, налипая на лужицы блевотины, если кого-нибудь стошнит прямо в коридоре. Томми теперь ходил всегда в одной и той же одежде – в серых штанах и белой рубашке, на которой красными нитками было вышито его имя: *Томми*.

Но ничего. Все они через это прошли, и все они это пережили.

* * *

А сегодня утром Томми неторопливо ехал в Карлайл за покупками, поскольку до восьмидесяти второго дня рождения жены оставалось всего несколько дней. Этот субботний денек выдался на редкость солнечным, по-настоящему майским. По обе стороны от дороги расстилались поля, и на них уже зеленели всходы кукурузы и сои. Те поля, что были оставлены под паром, казались коричневыми пятнами на лоскутном одеяле, словно собранном из различных

оттенков молодой зелени. Над головой ярко сияло высокое, почти безоблачное небо, и лишь у самого горизонта виднелись редкие белые клочки облаков. Томми миновал поворот на грунтовую дорогу, ведущую к дому Бартонов; на перекрестке все еще красовалась старая вывеска «Шьем и перешиваем», хотя Лидия Бартон, которая всем этим и занималась, умерла много лет назад. Бартоны считались изгоями даже в таком жалком городишке, как Эмгаш, и причиной тому была не только их невероятная бедность, но и непонятная замкнутость, обособленность. Теперь в старом домишке уединенно проживал в полном одиночестве старший сын Бартонов, Пит; их средняя дочь жила неподалеку, через два таких же, как Эмгаш, городка отсюда; а вот младшая из детей, Люси Бартон, давным-давно из Эмгаша сбежала и поселилась не где-нибудь, а в Нью-Йорке. Томми частенько вспоминал Люси. После уроков эта девочка никогда домой не спешила, предпочитая в полном одиночестве сидеть в классе чуть ли не до вечера, и поступала так с четвертого класса и до выпускного. И лишь через несколько лет она впервые осмелилась поднять на Томми глаза и посмотреть ему в лицо.

Впрочем, поворот к дому Бартонов Томми уже проехал, и сейчас перед ним расстилались бескрайние поля, совершенно поглотившие то место, где когда-то стоял его собственный дом. Теперь от него и следа не осталось, а потому в голову Томми, как всегда, полезли грустные мысли о той прежней благополучной жизни, которая была у них на ферме. Да, жизнь у них здесь была хорошая, но Томми не жалел о случившемся. Не в его характере было о чем-то сожалеть. Даже в ту страшную ночь, когда на ферме полыхал пожар, а душу Томми охватил все нараставший страх, он прекрасно понимал, что самое главное для него в этом мире – это его жена и дети. Он еще подумал тогда, что некоторые люди ухитряются прожить целую жизнь, так и не поняв, в чем ее истинная ценность. Сам он всегда очень остро это сознавал и считал, что тот пожар был ему неким знаком свыше, лишний раз подсказавшим, как бережно он должен хранить доставшийся ему дар. Впрочем, подобные мысли Томми держал при себе и ни с кем ими не делился, не желая прослыть выдумщиком, стремящимся найти оправдание для случившейся с ним трагедии – и, возможно, случившейся по его вине; ему не хотелось, чтобы хоть кто-то, даже горячо любимая жена, заподозрил, что он способен на подобные фантазии. Однако в ту ночь ему действительно довелось почувствовать и понять многое. Когда они выскочили из дома, Ширли сразу постаралась увести детей подальше от пожара, на ту сторону дороги, а Томми бросился к коровнику и увидел, что тот весь охвачен огнем. Огромные языки пламени вздымались в ночное небо, страшно кричали гибнущие в огне коровы, и Томми в те минуты действительно испытал множество самых различных чувств, но лишь когда внутрь провалилась крыша его дома – прямо туда, где раньше у них была спальня и гостиная, где стояли фотографии его детей и родителей, – он понял, понял по-настоящему, что все это происходит на самом деле, и единственное, что он в этот момент абсолютно отчетливо почувствовал, это присутствие Господа. А еще понял, почему ангелов всегда изображают крылатыми. Он прямо-таки ощущал эту их крылатость, слышал стремительное шуршание их крыл, хотя, возможно, это ему просто казалось; но потом он почувствовал, именно *почувствовал*, как Бог – лица Его он не различил, а может, у него и не было лица, но это совершенно точно был Он, – слегка его коснулся и этим мимолетным прикосновением, без слов, мгновенно дал ему понять: *Все будет хорошо, Томми*. И тогда Томми понял, что все действительно будет хорошо. Случившееся было выше его понимания, но это и не важно. Важно было то, что он успокоился. И потом все действительно было хорошо. Он часто думал о том, например, что после пожара его дети стали проявлять куда больше сочувствия и сострадания к другим, ведь теперь они были вынуждены учиться вместе с детьми из куда более бедных семей, никогда не живших в таком доме, каким семейство Гаптилл владело раньше. С тех пор Томми порой чувствовал рядом присутствие Бога как возникновение легкого золотого отсвета, а вот ощущения, что Господь не только сам к нему явился, но и мимолетно его коснулся, как это было в ту страшную ночь, у него больше никогда не возникало; и, прекрасно понимая, как реагируют люди, если он вздумает кому-

то об этом поведать, он молчал, но точно знал, что до самого смертного часа будет бережно хранить и в памяти, и в сердце тот тайный знак, который тогда подал ему Господь. Но сегодня утро выдалось такое теплое, весеннее, и запах земли пробудил в памяти Томми запах коров, их влажные ноздри, их теплые животы, и он вспомнил свои замечательные коровники – у него тогда их уже было два, – и перед его мысленным взором стали возникать быстро сменявшие друг друга картинки из прошлого. Возможно, это произошло из-за того, что он проехал мимо дороги, ведущей к дому Бартонов. Томми вспомнил Кена Бартона, отца тех бедных и вечно печальных детей, который в те времена иногда работал у него на ферме; а потом, естественно, вспомнил и Люси Бартон – о ней он вообще вспоминал чаще всего, – которая сперва уехала поступать в колледж, а в итоге оказалась в Нью-Йорке и стала писательницей.

Люси Бартон.

Продолжая вести машину, Томми задумчиво покачал головой. Больше тридцати лет проработав в школе уборщиком, он, разумеется, знал множество разных тайн: знал о беременностях учениц, и о пьющих матерях, и о взаимных изменах родителей – ему не раз доводилось невольно подслушивать разговоры ребят, когда те изливали душу друзьям в душевой или возле школьного кафетерия, хотя сам он при этом оставался для них как бы невидимкой и прекрасно понимал это. Но отчего-то больше других его тревожила именно Люси Бартон. Люси, ее сестра Вики и брат Пит постоянно служили объектом безжалостных, даже злобных насмешек и презрения не только со стороны ребят, но и кое-кого из учителей. И все же именно потому, что Люси в течение многих лет почти каждый день оставалась в школе после занятий, Томми казалось – хотя разговаривала она с ним крайне редко, – что он знает ее лучше всех остальных учеников. А однажды – Люси тогда училась в четвертом классе, а он только первый год работал в школе, – он, войдя в класс после уроков, увидел, что девочка сдвинула вместе три стула, поставив их вплотную к батарее, улеглась на них и крепко спит, укрывшись своим пальто. Томми тогда долго смотрел на нее. Он видел, как слегка приподнимается и опускается в такт дыханию ее грудь, под глазами от усталости черные круги. Длинные ресницы Люси, похожие на лучики мерцающей звезды, прилипли к щекам, еще влажным от невысохших слез – она явно горько плакала, прежде чем уснула. И Томми, стараясь не шуметь, осторожно попятился и выбрался из класса, испытывая странную внутреннюю неловкость, словно совершил нечто недопустимое, случайно наткнувшись на спящую девочку и позволив себе несколько минут на нее смотреть.

Но однажды – Томми припомнил, что тогда Люси, должно быть, училась уже в средней школе, – он вошел в класс и увидел, как она что-то рисует мелом на доске. Впрочем, заметив, что он вошел, рисовать она сразу перестала.

– Да не дергайся ты, рисуй себе спокойно, – успокоил он.

На доске был изображен побег плюща с множеством мелких листиков. Но Люси уже отошла от доски. А потом вдруг сама с ним заговорила.

– Я мел сломала, – призналась она.

Томми заверил ее, что в этом нет ничего страшного.

– Но я это сделала *нарочно*, – возразила она, и в глазах ее промелькнула мимолетная улыбка; впрочем, глаза она сразу же отвела.

– Нарочно? – переспросил он, и она кивнула, и он снова заметил промельк той же улыбки.

Тогда Томми подошел к доске, взял кусок мела – это был целый, нетронутый кусок – сломал его пополам и подмигнул ей. Он и теперь еще хорошо помнил, что Люси тогда *почти* захихикала.

– Это ты нарисовала? – спросил он, указывая на плющ с мелкими листочками.

Она лишь неопределенно пожала плечами и отвернулась. Но вообще-то она обычно просто сидела за партой и читала книжку или делала уроки. Томми много раз это видел.

Томми остановился у знака «Стоп» и пробормотал себе под нос: «Люси Бартон, Люси Би, как дела твои, Расскажи. Как сумела ты сбежать, позабыв отца и мать?»

Вообще-то он знал, как это произошло. Весной, когда Люси училась уже в выпускном классе, он как-то после занятий увидел ее в коридоре, и она сама повернулась к нему и, с неожиданной радостью глядя на него широко распахнутыми глазами, воскликнула: «Мистер Гаптилл, а я в колледж уезжаю, учиться!» А он сказал: «Так это же просто замечательно, Люси!» И тогда она его обняла; обняла и не отпускала, и он тоже ее обнял. И навсегда запомнил, как они тогда обнимали друг друга. Люси оказалась такой тоненькой и худенькой, что он чувствовал и каждую ее косточку, и прикосновение маленьких грудей. Впоследствии Томми часто думал о том, как мало, должно быть, этой девочке досталось в жизни теплых объятий и ласки.

Почти сразу за знаком «Стоп» был въезд в город, а чуть дальше виднелась парковочная площадка. Томми заехал на парковку и, шурясь от яркого солнечного света, вылез из машины. «Томми Гаптилл!» – окликнул его кто-то, и Томми, обернувшись, увидел Гриффа Джонсона, который, как всегда сильно прихрамывая, направлялся прямо к нему. У Гриффа одна нога была короче другой, и даже ботинок со специальной, сильно утолщенной подметкой не спасал его от хромоты. Грифф еще на ходу протянул Томми руку, они обменялись рукопожатием и еще долго трясли друг другу руки, а мимо них по Мейн-стрит медленно одна за другой проезжали машины. В Карлайле Грифф занимался страховкой и после пожара здорово помог Томми. Он вообще тогда поступил невероятно благородно: узнав, что Томми застраховал свою ферму на сумму, значительно меньшую ее реальной стоимости, Грифф просто сказал ему: «Ну и ладно. Значит, я просто слишком поздно об этом узнал. Я ведь с тобой совсем недавно познакомился», и последнее, кстати, было чистой правдой. У Гриффа была на редкость добродушная физиономия, а в последнее время он отрастил внушительное брюшко. Он и после всех тех неприятностей очень хорошо относился к Томми. Впрочем, Томми вряд ли сумел бы назвать хоть одного человека – ему самому, во всяком случае, казалось, что это именно так, – который относился бы к нему плохо или был бы недостаточно добр. А теперь они с Гриффом стояли на парковке, овеваемые ветерком от пронесившихся мимо машин, и говорили о своих детях и внуках. Один из внуков Гриффа был наркоманом, и Томми очень сочувствовал другу. Он молча слушал его рассказ, горестно кивая, но поглядывал все же на деревья, что росли по обеим сторонам Мейн-стрит и были сейчас покрыты совсем юной, ярко-зеленой листвой. Затем Томми выслушал рассказ Грифа о его втором внуке, студенте медицинского университета, и радостно воскликнул: «Вот ведь как здорово! Ну, какой он у тебя молодец!», и после этого старики, хлопнув друг друга по плечу, двинулись дальше по своим делам.

Когда Томми вошел в магазин готовой одежды и дверной колокольчик возвестил о его приходе, он сразу увидел Мэрилин Маколей. Она примеряла платье.

– Томми! А тебя каким ветром сюда занесло? – воскликнула она и тут же принялась объяснять, что подумывает, не купить ли ей это платье для своей внучки, у которой через пару недель, в воскресенье, конфирмация. Она то и дело одергивала на себе платье, надеясь, видимо, что так оно лучше сядет. Платье было симпатичное – по бежевому фону вились красные розочки. Мэрилин стояла на полу в одних чулках и толковала о том, что это, конечно, расточительство – покупать новое платье для одного лишь торжественного случая, но ей почему-то очень хочется. Томми – а он знал Мэрилин уже много лет, еще с тех пор, когда она студенткой проходила практику в старших классах школы в Эмгаше, – заметил ее смущение и сказал, что ему совсем не кажется расточительством покупка для девочки нового платья по случаю ее конфирмации, а потом прибавил:

– Слушай, Мэрилин, у тебя не найдется пары минут? Я хочу тут подыскать что-нибудь для жены, так что мне бы твой совет очень кстати пришелся.

Он сразу заметил, как приободрилась Мэрилин. Разумеется, она согласилась ему помочь и поспешила в примерочную переодеться, а потом предстала перед ним в своей обычной

одежде – черной юбке, голубом свитере и черных туфлях на низком каблуке. Она сразу же повела Томми туда, где висели шарфы и платки, и сказала, вытаскивая красный шарф со сложным рисунком, вытканым золотой нитью:

– Вот, взгляни.

Томми полюбовался шарфом и, держа его в одной руке, вытащил нечто совсем иное: легкий шарф с цветочным принтом.

– Может, лучше этот? – спросил он. И Мэрилин тут же согласилась:

– Да, пожалуй. Этот Ширли как раз подойдет.

И Томми понял, что красный шарф очень нравится самой Мэрилин, но она никогда не позволит себе его купить.

В тот год, когда Томми еще только начал работать в школе уборщиком, Мэрилин была прелестной девушкой и всегда, едва завидев его, здоровалась первой: «Здравствуйте, мистер Гаптилл!» Теперь же перед ним стояла пожилая женщина, нервная, худая, со странным, каким-то ужасно напряженным выражением лица. Томми, как и многие другие, полагал, что она стала такой, потому что ее муж воевал во Вьетнаме и вернулся совсем другим человеком. Томми иной раз встречал в городе Чарли Маколея, и взгляд у того всегда был какой-то отрешенный, отсутствующий. Вот бедолага, думал Томми. Бедная-бедная Мэрилин. Вот потому-то он, с минуту подержав в руках красный, расшитый золотой нитью шарф и словно размышляя, не купить ли его, все же произнес:

– Думаю, ты права. Этот Ширли больше подходит. – И, поблагодарив Мэрилин за помощь, взял цветастый шарф и пошел с ним к кассе.

– По-моему, он ей непременно понравится, – сказала Мэрилин, и Томми подтвердил: ну, конечно, понравится.

Снова оказавшись на тротуаре, Томми решил дойти еще и до книжного магазина, надеясь, что там, возможно, сумеет найти что-нибудь по садоводству – такая книга, безусловно, доставила бы Ширли удовольствие. В книжном он неторопливо двигался вдоль стеллажей и вскоре увидел новую книгу Люси Бартон, выставленную в самом центре. Он взял ее и стал рассматривать: на обложке было изображено какое-то городское здание, а на заднем клапане имелась фотография самой Люси. Пожалуй, подумал Томми, я бы сейчас ее и не узнал, если бы случайно где-нибудь встретил. Лишь зная, что на снимке именно она, он и сумел разглядеть в ней что-то знакомое. Впрочем, улыбка у нее осталась прежней, все такой же застенчивой. И Томми снова вспомнил тот день, когда Люси призналась ему, что сломала мел нарочно, и по лицу ее скользнула та странная, мимолетная улыбка. А теперь на него с фотографии смотрела пожилая женщина с гладко зачесанными назад волосами, но, как ни странно, чем дальше он разглядывал этот снимок, тем ясней представлял себе ту девочку, какой Люси была когда-то. Томми посторонился, пропуская мать с двумя маленькими детьми, которая, проходя мимо него, скороговоркой пробормотала: «Ох, извините-простите», и он сказал: «Ну что вы!», а потом стал размышлять – с ним это частенько бывало – как же ей, Люси, живется в таком далеком и большом городе, как Нью-Йорк.

Томми положил книгу Люси Бартон на прежнее место и пошел искать продавщицу, чтобы спросить, какие книги по садоводству у них есть.

– У нас, возможно, есть как раз то, что вам нужно. Мы эту книгу *только что* получили. – И эта девушка – которая вообще-то давно уже девушкой не была, но теперь все относительно молодые женщины казались Томми девушками – принесла ему книгу с гиацинтами на обложке. Томми обрадовался:

– О, это просто замечательно!

Продавщица спросила, не хочет ли он, чтобы книгу красиво упаковали, и он ответил, да, это было бы здорово, и стал смотреть, как ловко она заворачивает будущий подарок в серебряную бумагу. Ногти у нее на руках были покрыты синим лаком, и она так старалась, что

даже язык чуточку высунула. Наконец девушка заклеила сверток скотчем и широко улыбнулась Томми, явно довольная собой.

– Просто замечательно! – повторил он, а она сказала:

– До свидания. Удачного дня!

И он пожелал ей того же.

Выйдя из магазина, Томми пересек улицу, залитую ярким солнечным светом, и подумал, что непременно расскажет жене о книге, которую написала Люси. Ширли очень любила Люси, потому что и он, Томми, ее очень любил. Он сел в машину, включил двигатель и, аккуратно выехав с парковки, двинулся по улице в сторону дома.

По дороге ему вспомнился тот парнишка, внук Гриффа Джонсона, который, по словам деда, никак не может соскочить с наркотиков. Затем его мысли переметнулись к Мэрилин Маколей и ее мужу Чарли, потом, естественно, он вспомнил своего старшего брата, умершего несколько лет назад, и вдруг подумал: а ведь и его брат – он был на фронте во время Второй мировой и после победы вместе с другими американцами выпускал из концлагерей пленных – вернулся с войны совсем другим человеком; у него и брак развалился, и родные дети его не любили. А незадолго до смерти он рассказал Томми о том, что видел в концлагерях, и о том, как ему и еще кое-кому из американских военных довелось водить по лагерям обычных горожан. Однажды из города в лагерь приехала большая группа женщин, и военные повели их по лагерю, полагая, что теперь люди поймут, какие ужасы творились буквально с ними рядом. По словам брата, американцев очень удивило, что лишь некоторые женщины заплакали, а многие, наоборот, даже рассердились и стали гордо задиравать нос, явно не желая, чтобы их заставляли «смотреть на всякие гадости». Эти образы Томми навсегда сохранил в памяти, однако сейчас его несколько озадачило, с чего это он вдруг снова вспомнил о тех женщинах. Он до предела опустил оконное стекло и подумал, чем старше становится – он и так был уже очень стар, – тем отчетливее понимает, что не в силах разобраться в вечной, смущающей его душу борьбе добра и зла. А еще он вдруг решил: наверное, люди и не созданы для того, чтобы здесь, при жизни, в таких вещах разбираться.

Вновь подъехав к вывеске «Шьем и перешиваем», Томми притормозил и свернул на длинную грунтовую дорогу, ведущую к дому Бартонов. Он давно уже взял себе за правило время от времени проверять, как там поживает Пит Бартон. Он, конечно, давно уже стал взрослым, даже, пожалуй, пожилым мужчиной, и все же после смерти отца, Кена Бартона, Томми постоянно старался его навещать. Пит ведь тогда остался в их старом доме один-одинешенек, и Гаптилл вот уже месяца два как его не видел.

Томми тащился по длинной ухабистой дороге, чувствуя, до чего же здесь пустынно, – они с Ширли много раз говорили о том, как плохо жить в такой изоляции, особенно детям. С одной стороны дороги тянулись бесконечные кукурузные поля, с другой – поля сои. Единственное дерево – поистине громадное, – росшее посреди кукурузных полей, несколько лет назад сильно пострадало от удара молнии, а теперь рухнуло на землю, и его длинные ветви, голые и изломанные, торчали в небо, точно обломки костей.

Грузовичок Бартонов, как всегда, был припаркован возле дома, стены которого так давно не красили, что они казались выгоревшими почти до белизны; даже черепица на крыше побледнела, а кое-где и вовсе отсутствовала. Жалюзи на окнах были опущены – тоже как всегда. Томми вылез из машины, подошел к двери и постучался. Стоя на солнцепеке, он снова вспомнил Люси Бартон. Господи, какой же это был тощий ребенок! Просто больно смотреть. А какие у нее были красивые длинные светлые волосы! Вот только в глаза она ему почти никогда не смотрела. Однажды, когда она была еще совсем девочкой, он вошел после уроков в классную комнату и увидел, что она сидит там в полном одиночестве и что-то читает. Она тогда ужасно перепугалась – он заметил, как сильно она вздрогнула, прямо-таки подскочила на месте, – и Томми поспешил ее успокоить: «Нет-нет, все в порядке, не бойся». Но именно в тот день, заме-

тив, как Люси подскочила от испуга, увидев, какой ужас плещется в ее глазах, он догадался, что эту девочку наверняка дома бьют. Да, наверняка. Иначе она бы так сильно не испугалась всего лишь из-за того, что кто-то дверь в класс приоткрыл. И когда Томми кое-что понял о Люси Бартон, он стал внимательней к ней присматриваться и порой замечал у нее синяки – то на шее, то на руках, иногда совсем свежие, а иногда уже пожелтевшие. Когда он рассказывал об этом жене, Ширли огорченно всплескивала руками и говорила: «Но что мы можем поделать, а, Томми? Чем мы-то ей можем помочь?» Они оба много об этом думали, но все же решили ничего не предпринимать. А когда они окончательно обсудили этот вопрос, Томми рассказал жене, как несколько лет назад застал Кена Бартона, отца Люси, за нехорошими делами. Это случилось еще в те времена, когда у Томми была молочная ферма, а Кен, неплохой механик, иногда выполнял там кое-какие работы, например, чинил доильные аппараты. В тот день Томми, случайно заглянув за один из коровников, застал там Кена Бартона в спущенных до колен штанах, который занимался онанизмом и при этом грязно ругался – отвратительное зрелище, надо же было на такое наткнуться! Томми сказал ему просто: «Чтобы я ничего подобного тут больше не видел, Кен», и Кен, резко повернувшись, мгновенно запрыгнул в свой грузовик и умчался, а потом целую неделю на работу не выходил.

– Почему же ты мне раньше об этом не рассказал, Томми? – Голубые глаза Ширли с ужасом смотрели на него.

И Томми признался, что просто побоялся говорить о таких мерзких вещах.

– Но Томми, с этим действительно нужно что-то делать! – воскликнула тогда жена. И они снова и снова это обсуждали, но каждый раз приходили к выводу, что ничего поделать не могут.

* * *

Жалюзи слегка шевельнулись, потом открылась дверь, и на пороге возник Пит Бартон.

– Привет, Томми, – сказал он и шагнул с крыльца на солнцепек, тщательно прикрыв за собой дверь. Он остановился рядом с Томми, и тот понял, что впускать его в дом Пит не хочет. Впрочем, Томми уже и так почувствовал знакомый гнилостный запах, который, возможно, исходил от самого хозяина.

– Я тут как раз мимо ехал, – как ни в чем не бывало пояснил Томми, – вот и решил, что надо бы к тебе заглянуть, узнать, как дела.

– Спасибо, я в полном порядке. Но все равно спасибо.

При ярком солнечном свете лицо Пита казалось ужасно бледным, волосы у него почти совсем поседели, но в целом цвет у них был довольно странный, такой бледно-серый, как бы в тон выгоревшей черепице на крыше его дома.

– По-прежнему у Дарра работаешь? – спросил Томми.

Пит кивнул. Потом сообщил, что там он работу почти завершил, однако у него на очереди другое предложение, в Хэнстоне.

– Это хорошо. – Томми, прищурившись, смотрел куда-то вдаль. До самого горизонта перед ним расстилались бесконечные соевые поля, и яркая зелень молодых растений красиво выделялась на коричневой земле. А на горизонте виднелись хозяйственные постройки фермы Педерсона.

Они с Питом поговорили немного о разных сельскохозяйственных механизмах, а заодно обсудили и те ветряки, что недавно установили между Карлайлом и Хэнстоном.

– Хотя мы, пожалуй, к ним уже и попривыкли, – заметил Томми. И Пит сказал, что тут Томми, должно быть, прав. То единственное дерево, что росло рядом с их подъездной дорожкой, уже покрылось молодой листвой, трепетавшей от легких порывов теплого ветерка.

Пит прислонился к автомобилю Томми, сложив руки на груди. Он был высокий, но какой-то ужасно худой, и грудь совсем впалая.

– Ты был на войне, Томми? – спросил он вдруг.

Томми удивил этот вопрос.

– Нет, я тогда был еще слишком мал, так что войну, можно сказать, пропустил. А вот мой старший брат воевал.

Ветви дерева слегка качнулись, быстро вверх-вниз взметнулась листва – казалось, только дерево ощутило легкое дыхание ветерка, а вот Томми этого дыхания совсем не почувствовал.

– А где он воевал?

Томми колебался: ему не очень хотелось говорить об этом. Потом все же сказал:

– Под конец войны он получил назначение в лагерь – то есть он был в тех войсках, которые освобождали концлагерь Бухенвальд. – Томми посмотрел в небо, покопался в кармане, извлек оттуда темные очки и надел. – И после этого он стал совсем другим человеком. Не могу сказать, как именно он переменялся, но точно стал совсем другим.

Он подошел к Питу и встал рядом, тоже прислонившись к боку автомобиля.

Некоторое время оба молчали, потом Пит Бартон повернулся к Томми и очень миролюбивым, даже, пожалуй, извиняющимся тоном произнес:

– Слушай, Томми, мне бы хотелось... в общем, лучше бы ты перестал без конца сюда ездить. – Он то и дело облизывал бледные, потрескавшиеся губы. Смотрел Пит в землю. Томми даже как-то не сразу его понял и решил, что, наверно, ослышался. Но едва он начал объяснять: «Я же только...», как Пит, быстро на него глянув, продолжил: – Ты ведь специально это делаешь, чтобы меня мучить, и, по-моему, пора бы тебе это прекратить, ведь времени-то уже достаточно прошло.

Томми с силой оттолкнулся от машины, выпрямился и с изумлением уставился на Пита сквозь темные очки.

– Чтобы тебя мучить? – переспросил он. – Пит, я приезжаю вовсе не за этим!

Неожиданно налетел более сильный порыв ветра и даже поднял маленький пылевой смерч над пересохшей дорогой, возле которой они стояли. Томми даже свои темные очки снял, чтобы Пит мог видеть его глаза, в которых читалась искренняя тревога, и голова Пита стыдливо поникла.

– Извини, – пробормотал он. – И забудь, что я сказал.

– Я просто стараюсь время от времени проверять, как ты тут. Чисто по-соседски. Ты ведь совсем один остался. По-моему, соседям стоит иногда друг к другу заглядывать.

Пит посмотрел на Томми, криво усмехнулся и сказал:

– Ну, так ты единственный, кто ко мне заглядывает. Больше ко мне никто из соседей и носа не жает. – Пит засмеялся, и от этого смеха Томми стало не по себе.

Они продолжали стоять рядом, только теперь Томми расцепил скрещенные на груди руки и сунул их в карманы. Пит тоже сунул руки в карманы, затем поддел ногой камешек, с силой его отшвырнул и, отвернувшись от Томми, стал смотреть куда-то вдаль.

– Педерсону надо бы убрать это дерево. Не знаю, почему он до сих пор этого не сделал, – сказал Пит. – Одно дело пахать вокруг него, пока оно еще живое было, а теперь-то уж что...

– Да он и собирался его убрать, я сам слышал, как он об этом говорил. – Томми как-то не совсем понимал, что ему теперь делать. Для него это было очень необычное ощущение.

А Пит, по-прежнему не сводя глаз с рухнувшего дерева, вдруг произнес:

– Мой отец был на войне. Всю душу ему там изуродовали. – Пит повернулся и посмотрел на Томми, щурясь от яркого солнечного света. – Он только перед смертью мне об этом рассказал. Просто ужасно, что с ним сотворили. А потом... потом он застрелил двух немецких парней, хотя знал, что они даже и не солдаты, и вообще еще почти дети... И он мне признался, что всю жизнь, каждый божий день, чувствовал, что после этого он должен был сразу же убить и себя. Во искупление.

Томми слушал, глядя этому мальчику прямо в глаза – да нет, какому мальчику, взрослому мужчине, причем уже немолодому! – и темные очки он не надел, продолжая сжимать их в кармане.

– Ты извини, я и не знал, что твой отец тоже был на войне.

– Мой отец... – И тут Томми заметил – нет, он не мог ошибиться! – что в глазах у Пита стоят слезы. – Мой отец был *порядочным* человеком, Томми.

Томми медленно склонил голову в знак согласия.

– А всякими гадостями он занимался просто потому, что не мог себя контролировать. Потому-то он и... – Пит не договорил и отвернулся. Но довольно скоро, снова отчасти повернувшись к Томми и стоя к нему боком, закончил фразу: – Потому-то он и включил в ту ночь в коровнике доильные аппараты. И там из-за этого начался пожар, и все сгорело. И я никогда-никогда об этом не забывал, Томми, и мне казалось, что я *совершенно точно знаю*: это сделал он. Да, по-моему, и ты это знаешь.

Томми почувствовал, что от ужаса у него волосы встают дыбом, а по шее ползут мурашки. И это ощущение не проходило, мурашки так и продолжали ползать по шее и под волосами. И хотя солнце ярко светило и было очень теплым, Томми казалось, что светит оно на всех, кроме него, а на него надет какой-то непроницаемый для солнечных лучей конус. Немного помолчав, он сказал:

– Сынок... – это слово вырвалось у него невольно, – ты не должен так думать.

– Послушай, – начал Пит, и Томми показалось, что с его лица исчезла смертельная бледность, – отец ведь прекрасно знал, что твои доильные аппараты ненадежны, что с ними и до беды недалеко – он и нам не раз об этом говорил. А еще он говорил, что доильный аппарат – устройство весьма примитивное и легко перегревается, если не давать ему передышки.

– Да, тут он был совершенно прав, – согласился Томми.

– Он был страшно зол на тебя за что-то. Вообще-то он вечно на кого-нибудь сердился, но на тебя он был прямо-таки страшно зол. Я не знаю, что там у вас случилось, но ведь он работал у тебя на ферме, а потом вдруг перестал. Правда, он, по-моему, вскоре вернулся, но с тех пор явно тебя недолюбливал. С тех самых пор, как между вами случилось то, что случилось.

Томми снова надел темные очки. И сказал, тщательно подбирая слова:

– Я случайно наткнулся на него, когда он, спустив штаны, дробил за коровником, ну то есть онанизмом занимался. И я, конечно, сказал, чтобы впредь он ничего такого здесь делать не смел.

– О господи... – Пит рукой вытер у себя под носом, – господи... – Подняв голову, он некоторое время смотрел куда-то в небо, потом быстро глянул на Томми. – Но он действительно тебя недолюбливал. А в ту ночь перед пожаром он куда-то ушел – с ним, правда, такое бывало – уйдет и никому ничего не скажет; хотя пьяницей он не был, а вот из дома уйти куда-нибудь ему иногда хотелось... И тогда он тоже куда-то ушел, а вернулся поздно, где-то около полуночи – я это хорошо помню, потому что моя сестра никак не могла уснуть, все жаловалась, что ей холодно, а мать... – Пит вдруг умолк, словно ему не хватило дыхания, но вскоре снова заговорил: – В общем, мать была вместе с Люси наверху. Я помню, как она ее уговаривала: *ложись спать, Люси, уже полночь!* Тут как раз отец домой и вернулся. А на следующее утро, когда я был в школе... в общем, утром мы узнали о пожаре. И я сразу все понял. Просто понял, и все.

Томми понадежней прислонился к машине и молчал, пытаясь успокоиться.

– Ты ведь тоже сразу все понял, да? – закончил рассуждать Пит. – Поэтому ты и приезжаешь сюда постоянно, чтобы меня мучить!

После этих слов оба довольно долго молчали, по-прежнему стоя возле машины. Ветерок совсем разгулялся, и Томми чувствовал, как он треплет рукава его рубашки. Наконец Пит повернулся и двинулся к дому. Но, когда он со скрипом отворил дверь, Томми окликнул его:

– Пит! Пит, постой, послушай меня. Я приезжаю сюда вовсе не для того, чтобы тебя мучить. И я до сих пор не знаю – даже после того, что ты мне сейчас рассказал, – что случилось на самом деле.

Пит снова повернулся к нему, помедлил секунду, закрыл дверь и, сойдя с крыльца, направился к Томми. На глазах у него стояли слезы – то ли от душевной боли, то ли просто от резкого ветра, этого Томми не знал.

– Послушай, Томми, – как-то почти устало промолвил Пит, – вот что я тебе скажу. Ему вовсе не обязательно было идти на войну и делать все то, что ему там делать пришлось. Людям вообще *не обязательно* убивать других людей. Они не для этого *предназначены*. А он и убивал, и совершал другие страшные поступки, и с ним самим ужасно поступали, а жить только *внутри себя* он так и не научился, не сумел. Вот что я тебе, Томми, втолковать пытаюсь. Другие сумели, а он нет. И попытки так жить окончательно разрушили его душу, и он...

– А как же твоя мать? – неожиданно прервал его Томми.

Выражение лица Пита сразу стало иным: замкнутым, даже каким-то туповатым.

– А что моя мать? – спросил он.

– Как она все это восприняла?

Пит, казалось, был сражен этим вопросом. Он медленно покачал головой, потом сказал:

– Не знаю. Я вообще не знаю, какой она была, моя мать.

– Да и я ее никогда толком не знал, – признался Томми. – Мы встречались, конечно, иной раз, да как-то все больше мимоходом. – И тут его вдруг осенило: он ведь ни разу в жизни не видел, чтобы эта женщина, мать Пита, хотя бы улыбнулась.

Пит молчал, глядя в землю. Потом, пожав плечами, повторил:

– Не знаю я насчет матери.

И Томми наконец-то почувствовал, что мысли у него в голове прекратили свое кружение и вновь обрели порядок. Окончательно придя в себя, он сказал Питу:

– А знаешь, я очень рад, что ты рассказал мне об отце, о том, что он воевал. И я тебя *услышал*. Вот ты сказал, что твой отец был порядочным человеком, и я тебе верю.

– Но это *действительно* так! – буквально взвыл Пит, уставившись на Томми бледными глазами. – Если он даже и совершал что-то плохое, то потом всегда ужасно из-за этого мучился. А после твоего пожара он был настолько... *взволнован, возбужден*... и это *возбуждение* все никак не проходило, оно много недель подряд продолжалось, и ему было ужасно плохо, гораздо хуже, чем когда-либо.

– Ничего, Пит. Теперь все в порядке.

– Да ничего *не в порядке!*

– Нет, в порядке. – Это Томми произнес непререкаемым тоном. А потом подошел к Питу, положил руку ему на плечо и ласково прибавил: – Короче, я в любом случае не думаю, что это его рук дело. Мне кажется, я сам в тот вечер доильные аппараты выключить забыл. А твой отец и впрямь на меня тогда злился. Может, ему от этого и было не по себе. Он ведь никогда тебе не говорил, что пожар – это его рук дело? Не говорил ведь? Хотя перед смертью смог, например, честно признаться, что тогда, во время войны, убил тех ни в чем не повинных парней, а вот в том, что это он мои коровники сжег, признаваться и не подумал, так или нет? – Пит кивнул. – Так, может, ему и признаваться было не в чем?

Пит только головой покачал.

– А раз так, – продолжал Томми, – то я предлагаю тебе выбросить это из головы. У тебя и без того недоброжелателей хватает, есть с кем бороться.

Пит провел рукой по волосам, и одна непокорная прядь тут же встала дыбом. Явно смущенный, он все же спросил:

– Как это – бороться?

– Я же видел, как к тебе относились в городе, Пит. И к твоим сестрам тоже. Я много чего замечал, когда уборщиком в школе работал. – И у Томми вдруг слегка перехватило дыхание.

Пит снова смущенно пожал плечами. Похоже, он пока еще не сумел в этом разобраться.

– Ну, тогда ладно. Как скажешь.

Они еще немного постояли на ветерке, и Томми сказал, что ему пора ехать.

– погоди, – отозвался Пит. – Можно мне доехать с тобой до развилки? Я давно собираюсь от старой материнной вывески избавиться, да все никак не соберусь. Зато сейчас я точно ее сниму. Ты подожди меня минутку, хорошо? – Он ушел в дом, а Томми остался ждать его у машины. Пит скоро вернулся, неся увесистую кувалду, и они уселись в автомобиль – Томми на водительское кресло, а Пит на пассажирское. Как только они двинулись в сторону шоссе, тот омерзительный запах, который Томми учуял, едва увидев Пита, стал чувствоваться гораздо сильнее, ведь теперь Пит был рядом. Впрочем, Томми сделал вид, что ничего не замечает, и вдруг вспомнил, как однажды специально подложил на ту парту, где обычно после уроков сидела Люси, монетку, четвертак. Она тогда училась уже в средней школе и предпочитала оставаться в классе мистера Хейли. Он преподавал социальные дисциплины, хотя у них в школе и успел проработать недолго, что-то около года, а потом его забрали в армию. Похоже, к Люси он относился хорошо, потому что она, даже когда его класс преобразовали в кабинет естественных наук, все равно любила оставаться после уроков именно там. И Томми, зная об этом, оставил четвертак на ее излюбленной парте. В школе не так давно установили торговый автомат, и за четвертак можно было купить, например, мороженое с вафлями. Томми надеялся, что Люси сразу заметит монетку и возьмет ее. Но вечером, уже после того, как девочка ушла домой, он снова заглянул в тот класс и увидел, что четвертак лежит там же, где он его оставил.

Ему очень хотелось расспросить Пита о Люси, узнать, поддерживают ли они связь друг с другом, но он не успел: старая вывеска «Шьем и перешиваем» уже возникла прямо перед ними, и Томми остановил машину.

– Ну, вот и приехали. Будь здоров, Пит.

Пит поблагодарил его и вылез из машины.

А через минуту Томми глянул в зеркало заднего вида и увидел, что Пит Бартон с размаху бьет по вывеске кувалдой. И было в этом что-то такое – особенно Томми поразило то, с какой силой Пит наносил удары, – отчего Томми остановил машину и повнимательней пригляделся к этому парню – да нет, немолодому уже мужчине! – который с невероятной, все возраставшей яростью крушил несчастную вывеску. Потом Томми снова тронулся с места, съехал под горку и на мгновение потерял Пита из виду, зная, что сейчас снова его увидит, как только опять взберется на пригорок. Там он посмотрел в зеркало и увидел, как этот парень – да нет, немолодой уже мужчина – машет кувалдой, с какой-то, пожалуй, даже жестокостью превращая старую вывеску в труху. Эта ярость и эта жестокость не просто удивили Томми. Он был потрясен до глубины души. Ему даже показалось, что с его стороны неприлично было подсматривать за этой мучительной вспышкой застарелой боли, горечи, муки. Не следовало ему становиться свидетелем чего-то столь личного, даже интимного, как не следовало видеть и то, чем несчастный отец этого мальчика – нет, немолодого уже мужчины – занимался в тот злополучный день за коровниками. И лишь когда Томми поехал дальше, до него вдруг дошло: вот оно что! Дело, оказывается, было в матери Пита. Ну конечно, все дело в его матери! Она-то и была, должно быть, человеком по-настоящему опасным.

Томми притормозил, развернулся и поехал назад. Он еще издали заметил, что Пит перестал лупить по вывеске и теперь с усталым презрением лишь пинал обломки. Услышав приближавшуюся машину, Пит поднял голову, и на его лице отразилось откровенное изумление. Томми перегнулся через пассажирское сиденье, покрутил ручку, опуская стекло, и позвал:

– Садись-ка, Пит. – Тот колебался. Его лицо покрылось крупными каплями пота. – Ну, залезай же, – снова пригласил его Томми.

Пит уселся на пассажирское сиденье, и они опять поехали к дому Бартонов. Наконец Томми остановился и выключил двигатель.

– Пит, я хочу, чтобы ты очень-очень внимательно меня выслушал.

На лице Пита промелькнул страх, и Томми, желая ободрить Бартона, легонько коснулся рукой его колена. Точно такой же страх читался когда-то и в глазах Люси, если Томми неожиданно заставал ее в классе после уроков.

– Я хочу рассказать тебе нечто такое, о чем никогда и никому еще не рассказывал и даже не собирался. Но в ту ночь, когда случился пожар... – И Томми очень подробно описал Питу, что он чувствовал, когда к нему снизошел Господь и дал ему, Томми, понять, что все будет хорошо. Закончив рассказ, он увидел, что Пит, все время жадно его слушавший, но до этого смотревший в основном в пол и лишь изредка поднимавший на Томми глаза, сейчас смотрит прямо на него с интересом и нескрываемым изумлением.

– И ты в это веришь?

– Я не просто верю, – ответил Томми, – я это *знаю*.

– И ты никогда и никому об этом не рассказывал? Даже жене?

– Нет, никогда и никому.

– Но почему?

– По-моему, у каждого в жизни случается такое, чем ни с кем не стоит делиться.

Пит сидел, потупившись, изучая собственные руки. Томми тоже посмотрел на его руки и был удивлен тем, какие это крупные руки с длинными сильными пальцами – руки взрослого мужчины.

– Значит, ты говоришь, что мой отец действовал по велению Господа? – усомнился Пит, медленно качая головой.

– Нет. Я всего лишь рассказал тебе о том, что со мной случилось в ту ночь.

– Знаю. Я же слышал, о чем ты толковал... – Пит смотрел не на Томми, а куда-то вдаль сквозь ветровое стекло. – Вот только я не знаю, что мне теперь делать с тем, что я от тебя услышал.

Томми посмотрел на грузовик, стоявший возле дома, – его крыло блестело в ярких солнечных лучах. Грузовик был старенький, серовато-коричневый, словно поседевший от старости, почти того же оттенка, что и выцветшие стены дома. И Томми вдруг показалось, что он сидит так уже очень давно, глядя на этот грузовик и думая о том, насколько его цвет соответствует цвету дома.

– Скажи, а как поживает Люси? – спросил он вдруг, разминая затекшие ноги и слыша, как они скребут по грязному резиновому коврику на полу. – У нее новая книжка вышла, я в магазине видел.

– У нее все хорошо, – ответил Пит, и лицо его сразу просветлело. – У нее все хорошо, и книга у нее получилась очень хорошая. Она мне сразу сигнальный экземпляр прислала. Я очень ею горжусь, нет, правда.

– А знаешь, я как-то нарочно положил ей на парту четвертак, так она даже не подумала его взять. – И он рассказал Питу, как потом нашел свою монетку на том же месте, где и оставил.

– Ну что ты, Люси и пенни бы чужого не взяла, – сказал Пит и прибавил: – А вот моя вторая сестра, Вики... совсем другое дело. Спорить готов, уж она бы этот четвертак не только взяла, но и еще потом попросила. – Он посмотрел на Томми. – Да уж. Вики точно бы его взяла.

– А по-моему, в человеке всегда происходит борьба между тем, что можно сделать, и тем, чего ни в коем случае делать нельзя, – попытался пошутить Томми.

– Что? – растерянно переспросил Пит, и Томми повторил.

– Правда? Как интересно!

И Томми был потрясен: у него вновь возникло ощущение, что перед ним ребенок, а не взрослый мужчина. И, чтобы проверить себя, он снова посмотрел на руки Пита.

Некоторое время оба молчали, потом в двигателе автомобиля что-то застучало, и Пит произнес:

– Вот ты меня спросил о моей матери. Никто меня о ней никогда не спрашивал. Но правда в том, что я так и не знаю, любила ли она нас, своих детей, или же совсем не любила. Если честно, то по-настоящему я о ней почти ничего не знаю. – Он посмотрел на Томми, и тот понимающе кивнул. – А вот отец нас действительно любил. Я знаю, что любил. Просто у него душа была истерзана. Ох, как же сильно у него была истерзана душа! Но нас он любил.

Томми снова кивнул.

– Расскажи мне еще о том, о чем только что говорил, – попросил Пит.

– О чем? Что я только что говорил?

– О том... что нужно бороться. Разве ты этого не говорил? И еще о том, что нам следует выбрать между тем, что нам следует сделать, и тем, чего мы делать ни в коем случае не должны.

– Ах, вот ты о чем. – Томми посмотрел сквозь ветровое стекло на дом, такой безмолвный и обветшалый. От яркого солнечного света жалюзи на окнах были похожи на устало опущенные веки дряхлого старика. – Ну, вот тебе, пожалуйста, более широкий пример. – И Томми рассказал Питу о том, что его старший брат видел на войне, и о тех женщинах, которых привели на экскурсию в только что освобожденный концлагерь, и о том, что некоторые из этих женщин горько плакали, зато другие были разгневаны тем, что их душевное спокойствие нарушают столь прискорбным зрелищем. – Думается, эта борьба, подобное соперничество добра и зла продолжается постоянно. И человека в нас сохраняет только наша способность испытывать угрызения совести, способность искренне сожалеть о том, что ты причинил страдания другим людям, и умение показать, что ты действительно раскаиваешься в совершенном. – Томми даже слегка прихлопнул рукой по рулю. – Вот как я думаю.

– Я-то видел, что отец испытывает тяжкие угрызения совести, – сказал Пит. – В нем все это как раз было – то, о чем ты говоришь: и борьба, и проблема выбора, и угрызения совести. Все в одном человеке.

– Полагаю, ты прав.

Солнце поднялось уже так высоко, что увидеть его, сидя в машине, было невозможно.

– Я никогда и ни с кем так не разговаривал, как с тобой сегодня, – признался Пит, и Томми в очередной раз был потрясен тем, каким все-таки юным кажется ему этот взрослый мужчина с душой ребенка. И непосредственно с Питом была почему-то связана странная, пока еще несильная, боль, возникшая глубоко у Томми в груди.

– Я старый человек. И, по-моему, если мы с тобой собираемся и впредь вести подобные разговоры, то мне стоило бы почаще сюда заезжать. Как насчет того, чтобы снова встретиться субботы через две?

И Томми с удивлением увидел, что руки Пита превратились в кулаки, и он, с силой ударив по коленям, выпалил:

– Нет! Нет, ты вовсе не обязан!.. Нет!

– Но я сам этого хочу, – возразил Томми и почти сразу подумал, а потом и понял, что это неправда. Но разве то, что он подумал, имеет какое-то значение? Никакого.

– Мне вовсе не нужно, чтобы кто-то навещал меня по обязанности, – тихо сказал Пит.

И Томми, чувствуя, что боль у него в груди заметно усилилась, откликнулся:

– И я ни в коем случае не стал бы тебя за это винить.

Они продолжали сидеть в машине, хотя она так нагрелась на солнце, что жуткий запах можно было, казалось, запросто пощупать.

Помолчав еще пару минут, Пит напомнил:

– Но я ведь и впрямь считал, что ты приезжаешь только для того, чтобы меня мучить. Получается, я и тут ошибался. Так, может, я и теперь ошибаюсь, думая, будто ты просто хочешь заставить меня быть тебе благодарным?

– Да, по-моему, ты снова ошибаешься.

Томми опять ясно почувствовал, что говорит неправду. Потому что правда заключалась в том, что ему не так уж и хотелось снова навещать этого сидящего рядом бедолагу с руками взрослого мужчины и душой ребенка.

Они еще немного помолчали, потом Пит повернулся к Томми, решительно кивнул и вылез из машины, бросив на прощание:

– Ладно. Тогда, значит, приезжай, как сказал. И спасибо тебе, Томми. – А тот откликнулся:

– Это тебе спасибо.

* * *

Томми ехал домой, чувствуя себя старым спущенным колесом – словно всю жизнь он был колесом упругим, хорошо накачанным, а теперь лопнул, и весь воздух из него вышел. И, хотя он продолжал вести машину, его все сильнее охватывало чувство страха. Он никак не мог понять, с чего бы это. Но, с другой стороны, он ведь рассказал Питу то, о чем самому себе поклялся никому и никогда не рассказывать – как сам Господь приходил к нему в ту ночь, когда случился пожар. Почему же он все-таки поделился с Питом? Наверное, потому что хотел хоть что-то подарить ему, этому бедному парнишке, с такой яростью разносившему вдребезги кувалдой старую вывеску своей матери. Но разве так уж важно, что он все рассказал Питу? В этом у Томми особой уверенности не было. И все же ему казалось, что когда-то он сам себе всунул в рот кляп, наложил на себя запрет, внушил себе: если расскажет то, о чем никому и никогда не должен рассказывать, то унизится так, что ему не будет прощения. Вот что действительно пугало его. «*И ты в это веришь?*» – спросил у него Пит Бартон.

Томми просто сам себя не узнавал.

«Боже, что я сделал?» – пробормотал он себе под нос, и ему показалось, что он действительно задает этот вопрос Богу. «Где Ты, Боже?» Но в салоне автомобиля все оставалось по-прежнему – там было очень тепло и все еще не выветрился дурной запах, оставшийся после Пита Бартона; и сам он, Томми, по-прежнему тащился по знакомой дороге к дому.

На самом деле он вовсе не тащился, а ехал как раз быстрее обычного. За окном так и пролетали поля сои и кукурузы, перемежавшиеся коричневыми участками земли, лежавшей под паром, но ничего этого Томми почти не замечал.

Вот и его дом, и на ступеньках крыльца сидит Ширли. Ее очки поблескивают в солнечном свете, она машет ему рукой, заметив, что он уже выехал на подъездную дорожку. «Ширли! – крикнул он, вылезая из машины. – Ширли!» Она с трудом поднялась и, держась за перила, спустилась с крыльца. Подошла к нему, и на лице у нее было написано искреннее беспокойство. «Ширли, – сказал он, – я должен кое-что тебе рассказать».

Они устроились в своей маленькой кухоньке за маленьким столиком, на котором в высоком стеклянном кувшине стоял букет еще не совсем распустившихся пионов. Ширли сдвинула кувшин в сторону, и Томми принялся рассказывать ей о том, что с ним произошло этим утром в доме Бартонов, а она все качала головой, то и дело поправляя тыльной стороной ладони сползавшие очки.

– Ох, Томми! – приговаривала она. – Ох, Пит, бедный мальчик!

– В том-то и дело, Ширли, все гораздо сложнее. Мне еще кое-что важное нужно тебе поведать.

И Томми, внимательно посмотрев на жену – прямо в ее голубые глаза, которые за стеклами очков стали теперь гораздо бледнее, и в них поблескивали крошечные точки-шрамики после оперированной катаракты, – стал в тех же подробностях, что и Питу Бартону, рассказывать, как он в ночь пожара *почувствовал*, что к нему приходил сам Господь.

– Но сейчас мне кажется, что я, должно быть, просто все это себе вообразил. Такого просто быть не могло, я наверняка все это придумал. – И он, то ли сдаваясь, то ли в изумлении, широко развел поднятыми руками и сокрушенно покачал головой.

Жена некоторое время молча на него смотрела, и он чувствовал, что она внимательно за ним наблюдает. Потом он увидел, как удивленно расширились и потеплели ее глаза, источая такую знакомую доброту и нежность, и Ширли, наклонившись к нему, взяла его за руку.

– Но, Томми, почему ты считаешь, что этого не могло быть? Почему все не могло произойти именно так, как тебе показалось в ту ночь?

И Томми понял: то, что он так тщательно от нее скрывал в течение всей их жизни, было на самом деле вполне для нее приемлемым. И теперь ему придется скрывать от Ширли новую тайну – свои сомнения (свою внезапно возникшую уверенность в том, что Бог к нему вовсе и не приходил) – и эта новая тайна займет место первой. Он осторожно вынул руку из пальцев Ширли и сказал:

– Наверное, ты права. – И прибавил привычный пустячок, хоть это и была чистая правда: – Я люблю тебя, Ширли.

А потом некоторое время ему пришлось смотреть в потолок, потому что сразу опустить глаза и посмотреть на жену он бы не смог.

Ветряные мельницы

Несколько лет назад солнечным утром Пэтти Найсли включила телевизор, но вскоре, перемещаясь по спальне, поняла, что из некоторых мест при таком ярком свете на экране почти ничего невозможно разглядеть. Себастьян, муж Пэтти, был тогда еще жив, а сама она собиралась на работу, заранее приготовив все, что могло бы понадобиться мужу в течение дня. Болезнь Себастьяна только начинала развиваться, и Пэтти не знала толком – и никто из них не знал, – чем все это может закончиться. По телевизору шло обычное утреннее шоу, и Пэтти время от времени рассеянно поглядывала на экран. Она как раз вдевала в ухо жемчужную сережку, когда услышала, как ведущая объявила: «А после перерыва к нам присоединится Люси Бартон!»

Пэтти сразу же не только подошла к телевизору вплотную, но даже прищурилась, чтобы лучше видеть, и через несколько минут в студии действительно появилась Люси Бартон – она, как выяснилось, написала новый роман, – и Пэтти пробормотала: «Боже мой...», а потом, высунившись из дверей спальни, позвала мужа: «Сибби!» Себастьян, конечно, тут же пришел, и она, приговаривая: «Ох, Сибби, милый...», помогла ему улечься на кровать и ласково погладила по лбу. И вот сегодня она все это вдруг вспомнила: и то утро, и выступление Люси Бартон, о которой она несколько дней назад как раз рассказывала Себастьяну. Люси Бартон росла в ужасающей бедности, их жалкий домишко находился на задворках городка Эмгаша в штате Иллинойс. «Я их почти совсем не знала, я ведь в Хэнстоне училась, но помню, что при виде детей Бартонов люди брезгливо говорили: «Фу, шивые!» и старались держаться от них подальше», – объясняла Пэтти мужу. Однако потом ей все же пришлось с этим семейством познакомиться, потому что мать Люси Бартон была портнихой, а мать Пэтти время от времени пользовалась ее услугами и несколько раз брала с собой Пэтти и ее сестер. Домишко у Бартонов был совсем крошечный, и до чего ужасно там *пахло*! А вот теперь смотри-ка, Люси Бартон по телевизору показывают, она писательницей стала и живет в Нью-Йорке! «И, по-моему, – заметила Пэтти, обращаясь к мужу, – она очень мило выглядит, правда, дорогой?»

Себастьяна очень заинтересовала эта история. Пэтти видела, как он оживился, слушая ее, и уже через несколько минут принялся задавать ей множество разных вопросов: спросил, например, не казалось ли Пэтти уже тогда, что Люси несколько отличается от брата и сестры? Пэтти с ответом затруднилась и сказала, что в то время и впрямь ни с кем из них толком знакома не была. *Однако* – и вот это, по словам Пэтти, действительно было странно – родителей Люси неожиданно пригласили на свадьбу старшей сестры Пэтти, Линды. Пэтти так и не сумела понять, почему. Она просто представить себе не могла, чтобы у отца Люси нашелся для такого случая приличный костюм. И с чего вообще понадобилось приглашать этих Бартонов на свадьбу Линды? Но Себастьян сказал так: «А что, если твоей матери на этой свадьбе больше и поговорить-то было не с кем?» И Пэтти поняла: он совершенно прав. И ужасно покраснела, поняв это. «Ну что ты, милая», – успокоил ее муж, нагнулся и поцеловал ей руку.

А через несколько месяцев Себастьяна не стало. Они познакомились, когда обоим было уже под сорок, так что вместе им довелось прожить всего восемь лет. Детей у них не было. И за всю жизнь Пэтти не встретила человека лучше Себастьяна.

* * *

Сев сегодня за руль, Пэтти сразу включила кондиционер на полную мощность. Она сильно располнела – ей все время было жарко, а сейчас, в конце мая, стояла чудная теплая погода – все вокруг только и говорили, какая чудная стоит погода, – и Пэтти просто изнемо-

гала от зноя. Сперва она ехала мимо полей – на одних кукуруза успела подняться над землей на несколько дюймов, на других едва виднелись ярко-зеленые побеги сои, – потом нырнула в город и долго петляла по извилистым улочкам, наслаждаясь видом пышных, цветущих кустов пионов возле крылец – Пэтти пионы обожала! Наконец она подъехала к школе, где работала «консультантом по профориентации старшеклассников», или попросту школьным психологом, припарковалась, посмотрелась в зеркало заднего вида, поправила на губах помаду, слегка взбила пальцами волосы и выгрузилась из машины, заметив, что на противоположном конце стоянки из авто вылезает Анджелина Мамфорд – преподавала в средней школе общественные науки. Пэтти знала, что от нее совсем недавно ушел муж. Она принялась приветственно махать рукой, и Анджелина, заметив ее, помахала в ответ.

Стеллажи в кабинете у Пэтти были сплошь уставлены папками с документами, а на письменном столе красовался выводок фотографий в рамках – ее племянницы и племянники; на верхних полках и на столе лежала груда подаренных коллегами брошюр и авторефератов. Но самое видное место занимал ее ежедневник, открыв который Пэтти поняла, что ученица Лайла Лейн вчера пропустила назначенную ей заранее встречу. Буквально в ту же минуту раздался стук в дверь – хотя дверь была открыта настежь, – и на пороге возникла высокая хорошенькая девушка.

– Входите, – пригласила Пэтти. – Вы Лайла?

Казалось, вместе с девушкой в комнату вошло и ее смущение. Послушно опустившись в кресло, она неловко ссутулилась и одарила Пэтти таким взглядом, что той стало не по себе. У Лайлы Лейн были длинные светлые волосы, которые она, приподняв, перебросила через плечо, и во время этого движения Пэтти заметила у нее на руке татуировку – что-то вроде колючей проволоки, обвивавшей тонкое девичье запястье.

– Какое у вас красивое имя – Лайла Лейн.

Девушка сообщила:

– Вообще-то меня сперва хотели в честь тетки назвать, но в последнюю минуту мать передумала и решила: «Да пошла она!»

Пэтти вытащила из папки документы и старательно распрямила загнувшиеся уголки, проведя листами бумаги по ребру столешницы.

А девушка, сев прямее, вдруг выпалила:

– Да она просто сука, тетка моя! Считает, что она лучше всех! А я с ней даже *и не знакома*.

– Вы не знакомы с родной тетей?

– Не-а. Она сюда приезжала, только когда их отец умер – ее и моей матери, – а потом снова уехала, так что я с ней никогда не встречалась. Она в Нью-Йорке живет и считает, наверно, что ее дерьмо не воняет.

– Ну что ж, давайте посмотрим, каковы ваши успехи... Ну, все очень хорошо. И оценки высокие. – Пэтти всегда страшно не любила, когда ученики сквернословят, считая это проявлением неуважения. Она быстро посмотрела на девушку и снова принялась перебирать бумаги. – Да просто отличные оценки! – повторила она.

– А в третьем классе я вообще не училась, меня сразу из второго в четвертый перевели, – сказала Лайла тоном глубочайшего равнодушия, в котором Пэтти все же расслышала явные нотки гордости.

– Молодец! – похвалила ее Пэтти. – Видно, вы всегда очень хорошо успевали. Вряд ли кому-то разрешили бы просто так целый класс пропустить, верно? – И она, с ласковым удивлением приподняв брови, посмотрела на девочку, но обнаружила, что Лайле не до нее: та изучала обстановку – читала названия брошюр, рассматривала фотографии племянников и племянниц Пэтти и довольно долго любовалась прикрепленным к стене постером: котенок, свисающий с ветки дерева, под которым крупными буквами написано: «Держись там».

– Что? – Лайла явно не расслышала слова Пэтти, и той пришлось повторить:

– Я сказала, что вряд ли кому-то разрешили бы просто так целый класс пропустить.

– Да господи, нет, конечно! – Лайла повозилась в кресле, передвинула в другую сторону вытянутые длинные ноги и снова ссутулилась.

– Ну, хорошо, с этим все ясно, – кивнула Пэтти. – А как вы себе представляете ваше будущее? У вас очень хорошие оценки, прекрасные показатели...

– Это ваши детишки? – Девушка, скосив глаза, указала на фотографии.

– Это мои племянницы и племянники.

– Знаю, своих-то детей у вас нет, – ухмыльнулась Лайла. – А как это получилось?

Пэтти почувствовала, что невольно заливается румянцем.

– Да просто не случилось – и все. Но давайте все же вернемся к вопросу о вашем будущем.

– Потому что вы с мужем никогда *этим* не занимались? – рассмеялась Лайла, показывая скверные зубы. – Все так говорят! А знаете, что еще люди говорят? Что Толстуха Пэтти – девственница и никогда не занималась *этим* ни со своим мужем, ни с кем-либо другим.

Пэтти аккуратно положила бумаги на стол, чувствуя, что щеки у нее буквально пылают, а перед глазами плывет пелена. В кабинете было так тихо, что Пэтти отчетливо слышала тиканье настенных часов. Даже в самых диких снах она не смогла бы предвидеть того, что через несколько секунд сорвалось у нее с языка. Она в упор посмотрела на Лайлу Лейн и вдруг услышала, как ее собственный голос произносит: «Немедленно вон отсюда, ты, кусок вонючего дерьма!»

Девушка, похоже, на мгновение оцепенела от изумления, потом усмехнулась.

– Ого, *ничего себе!* Значит, верно люди говорят. Господи ты боже мой! – И откровенно расхохоталась, прикрывая рот рукой. Она смеялась все громче, все сильнее, и у Пэтти возникло жуткое ощущение, что смех брызжет у этой девицы изо рта, как ядовитая желчь из пасти чудовищного существа из фильма ужасов. – Извините, – вдруг торопливо сказала Лайла, – извините меня.

И Пэтти вдруг непонятным образом поняла, кто эта девушка.

– Твоя тетка – Люси Бартон. Ты очень на нее похожа.

Лайла Лейн тут же вскочила и выбежала из кабинета.

Пэтти закрыла за ней дверь и позвонила своей сестре Линде, которая жила в одном из пригородов Чикаго. Она чувствовала, что лицо у нее мокрое от пота и одежда под мышками и на спине прилипла к телу.

Сестра сняла трубку и официальным тоном заявила:

– Линда Петерсон-Корнелл слушает.

– Это я.

– Я догадалась. У меня на экране телефона светится твое школьное прозвище.

– Тогда зачем же ты... Послушай, Линда... – И Пэтти рассказала сестре о том, что произошло у нее в кабинете несколько минут назад. Говорила она, торопясь и как бы оставляя за скобками те слова, которые сама сказала Лайле Лейн. – Нет, ну ты представляешь?! – возмущенно завершила она свою тираду и услышала, как Линда сперва тяжело вздохнула, а потом в очередной раз принялась рассуждать о том, что ей всегда было непонятно, как Пэтти вообще может работать с подростками. Пэтти возразила, что дело вовсе не в этом, что Линда не поняла самого главного, но сестра стояла на своем:

– Нет, как раз в этом! И все я прекрасно поняла! Ты все талдычишь – Лайла Лейн, Люси Бартон, Лайла то, Люси это... Да какое кому до них дело? – Линда немного помолчала и продолжила: – Ей-богу, Пэтти, разве удивительно, что племянница Люси Бартон оказалась такой дрянью? По-моему, уж это никого удивлять не должно.

– Почему ты так говоришь?

– Потому! Ты что, их не помнишь? Да все они просто *дрянь*, Пэтти! Господи, я сейчас вспомнила, что у них еще и родня соответствующая имелась... эти, как их, двоюродные братья и сестры, наверно. Мальчика, помнится, звали Абель. Ну и тип, скажу я тебе! Боже мой! Вечно торчал возле мусорного бака за кондитерской лавкой Четвина и в отбросах копался – искал, что бы съесть. Неужели *настолько* голодный был? А если нет, то почему он постоянно этим занимался? Причем, помнится, без малейшего смущения. Между прочим, и Люси туда с ним ходила, это я тоже помню. Меня от этого трясти начинало. Да и сейчас, если честно, от одних воспоминаний об этом трясет. А сестрицу Абеля звали Дотти. Тошная такая. Ну да, Дотти и Абель Блейн. Вот ведь странно: я так хорошо их помню. Но разве такое можно забыть? До них я ни разу не видела, чтобы у нас кто-то в мусорном баке в поисках еды копался. Кстати, этот Абель был очень даже симпатичным мальчишкой.

– Боже мой... – пробормотала Пэтти, чувствуя, как жар отливает у нее от лица. Она помолчала немного, потом спросила: – Кажется, родители Люси у тебя даже на свадьбе были? На твоей *первой* свадьбе?

– Не помню.

– Да прекрасно ты все помнишь! Интересно, как им удалось оказаться у тебя *на свадьбе*?

– Потому что *она* их пригласила! Ей хотелось, чтобы пришел хоть кто-нибудь, кто станет с ней разговаривать. Ради бога, Пэтти, прекрати! Просто забудь об этом – и все. Я, например, уже забыла.

– Ну, ты, может, и забыла, однако фамилию первого мужа по-прежнему носишь. Ты ведь все еще Петерсон, да? Хотя ваш брак лишь год продержался.

– Да, господи, – взвилась Линда, – с какой стати я должна была возвращать эту дурацкую фамилию Найсли?! Никогда не могла понять, зачем ты ее сохранила! «Хорошенькие девушки Найсли¹»! *Ужас какой!* Вот уж идиотское прозвище нам приклеили!

И ничего ужасного в этом прозвище нет, подумала Пэтти. А Линда продолжала:

– Ты, кстати, в последнее время нашу мамулю не навещала? Она в рай еще не собирается? И все такая же сумасшедшая?

– Я как раз сегодня хотела к ней заглянуть, – спокойно ответила Пэтти. – В последний раз была у нее несколько дней назад. Так что пора проверить, принимает она лекарство или нет.

– Мне абсолютно все равно, принимает она его или нет, – с вызовом заявила Линда, и Пэтти сказала, что ей это известно.

Потом Пэтти спросила:

– У тебя сегодня дурное настроение или что-то случилось?

– Нет, у меня все отлично.

* * *

Поскольку была пятница, то Пэтти, оказавшись днем в городе, сперва заглянула в банк, чтобы обналичить чек, а потом, пройдя чуть дальше по тротуару, еще и в книжный магазин. И прямо напротив входа на центральном стенде увидела новую книгу Люси Бартон. «Боже мой», – пробормотала Пэтти. И почти сразу заметила в магазине Чарли Маколя. И чуть не повернула к выходу, потому что Чарли был единственным мужчиной – не считая Себастьяна, конечно, – которого Пэтти любила. Она действительно уже давно любила его. Собственно, он и раньше ей очень нравился, хотя знакомы они толком не были – так часто бывает в маленьких городках: люди вроде бы и знают друг друга в лицо, но знакомыми их назвать трудно. Все произошло во время похорон Сибби. Пэтти случайно обернулась, увидела Чарли, в одиночестве стоявшего в заднем ряду, и у нее в душе что-то вдруг перевернулось вверх тормашками – вот

¹ Nicely (англ.) – хорошо, мило, приятно. – Здесь и далее прим. перев.

тогда она в него окончательно и влюбилась, да так до сих пор и была в него влюблена. В магазин Чарли пришел не один, а со своим внуком, учеником начальной школы. Встретившись с Пэтти взглядом, Чарли улыбнулся, лицо его сразу просветлело, и он приветливо кивнул ей. «Привет, Чарли», – поздоровалась она и попросила у хозяина магазина книгу Люси Бартон.

Оказалось, что это мемуары.

Мемуары? Пэтти перелистывала книгу, но слова так и прыгали у нее перед глазами – уж больно близко был от нее Чарли. Кончилось тем, что она вытащила кошелек и пошла с книгой к кассе. Сунув купленную книгу под мышку и уже выходя из магазина, Пэтти еще раз оглянулась на Чарли, и он помахал ей. По возрасту Чарли Маколей вполне годился Пэтти в отцы, но выглядел, пожалуй, гораздо моложе, чем выглядел бы сейчас ее отец, если бы был жив. И все же Чарли был по крайней мере лет на двадцать старше Пэтти. В молодости он воевал во Вьетнаме. Как Пэтти об этом узнала, она и сама толком не помнила. Жену Чарли Маколея она тоже знала: на редкость некрасивая особа, простенькая и тощая как щепка.

* * *

Чтобы добраться домой из центра города, Пэтти нужно было миновать несколько улиц. Дом они когда-то купили вместе с Сибби. Он был не слишком большой, но и не маленький, с красивым парадным крыльцом и симпатичным боковым крылечком, возле которого Пэтти выращивала пионы. Они сейчас распустились и клонились под тяжестью пышных цветов. А еще можно было полюбоваться ирисами, которые Пэтти посадила под окнами кухни. На них она как раз и смотрела, доставая из кухонного буфета коробку печенья – собственно, это было даже не печенье, а вафли «Нилла», и коробка уже наполовину опустела. Прихватив с собой коробку, Пэтти прошла в гостиную, плюхнулась в кресло и доела все вафли до единой. Затем вернулась на кухню, выпила стакан молока, позвонила матери и предупредила, что заедет к ней примерно через час. Мать, конечно, обрадовалась: «Ну и чудесно!»

Наверху в окна спальни всюду светило солнце, заглядывая и в коридор. В солнечных лучах плясали пылинки. Пэтти заметила, что на полу тоже полно пыли, и кое-где она собралась маленькими комочками. «О, господи, – вздохнула Пэтти, садясь на кровать, и снова повторила: – О, господи, господи...»

До Хэнстона ехать было миль двадцать, и пока Пэтти ехала меж полей, солнце по-прежнему светило всюду. На некоторых полях виднелись небольшие ростки кукурузы, на других еще ничего не возшло, и они оставались коричневыми, а одно поле как раз распахивали. Затем Пэтти проехала мимо того места, где лет десять назад установили ветряные мельницы – теперь над горизонтом высилось больше сотни огромных белых ветряков, вид которых всегда прямо-таки завораживал Пэтти. Особенно она любила следить за движением их длинных белых «рук», месивших воздух с одинаковой скоростью, но не синхронно. Она припомнила, что против ветряных мельниц вроде бы возбужден судебный процесс, впрочем, подобные судебные процессы то и дело возникали в связи с нанесением экологического ущерба – то птицам, то оленям, то фермерским угольям. Сама Пэтти в данном случае была на стороне этих огромных белых штуквин, тощие «руки» которых вразнобой, как у подвыпивших людей, мелькали на фоне небес, вырабатывая энергию. Потом ветряки остались позади, и снова вдоль дороги потянулись поля с низенькой, едва возшедшей кукурузой и совсем юными ярко-зелеными ростками сои, только-только проклюнувшимися из земли. На этих полях – в пору летней спелости кукурузы – пятнадцатилетняя Пэтти позволяла мальчишкам тискать и целовать ее, и мальчишеские губы были какими-то странно распухшими, словно резиновыми, а их затвердевшие причиндалы, казалось, были готовы вот-вот прорвать штаны. Впрочем, она сама, задыхаясь от их неумелых ласк и поцелуев, подставляла шею и крепко к ним прижималась, но каждый

раз – неужели действительно так и было? – чувствовала, что это невыносимо, невыносимо, невыносимо...

Наконец Пэтти добралась до Хэнстона – города, в котором она выросла и который, надо сказать, весьма мало изменился со времен ее детства. На улицах зажглись фонари, старомодные, черные, с лампочкой в коробке наверху. В городе имелось: два ресторана, магазин подарков, представительство инвестиционного банка и магазин одежды – все эти здания украшали одинаковые зеленые маркизы и черно-белые вывески. Чтобы добраться до матери, Пэтти пришлось проехать мимо того дома, в котором когда-то жила их семья. Это был красивый дом, красный с черными ставнями и широким крытым крыльцом-верандой. В детстве Пэтти могла часами сидеть на этом крыльце рядом с матерью, свернувшись клубком и прижавшись к материному животу так, что невольно мяла ей платье, и слушать над головой ее голос и смех. Отец Пэтти прожил здесь всю жизнь, а через год после его смерти не стало и Сибби. Теперь дом принадлежал чрезвычайно многодетной семье, и Пэтти каждый раз отворачивалась, проезжая мимо. Маленький белый домик, в котором теперь жила ее мать, находился на другой стороне города, так что ей нужно было проехать Хэнстон насквозь, а потом еще одну милю по шоссе. Свернув на подъездную дорожку, Пэтти сразу заметила, что мать ждет ее, стоя у переднего окна и подглядывая в щель между занавесками. Потом, отпирая боковую дверь и входя в дом, она услышала стук материной палки. И, увидев мать, в очередной раз подумала, что та снова настолько же уменьшилась, насколько увеличилась она сама. «Господи, я же стала просто огромной!» – ужаснулась Пэтти. Подобные мысли приходили ей в голову каждый раз, когда она навещала мать.

– Привет, – сказала Пэтти и, наклонившись, поцеловала воздух возле материной щеки. Затем выпрямилась и сообщила: – Я тут тебе кое-что из еды привезла.

– Никакой еды мне не нужно.

На матери был махровый халат, и она решительным движением затянула пояс потуже.

Пэтти вынула из пакета мясной рулет, капустный салат и картофельное пюре, сунула продукты в холодильник.

– Нужно все-таки хоть что-то есть.

– Ничего я не стану есть, пока одна здесь сижу. Может, останешься да поешь со мной? – Мать, задрав голову, умоляюще смотрела на Пэтти сквозь большие стекла очков, сползших ей на нос. – Ну, пожалуйста, а? – Пэтти на секунду зажмурилась и кивнула в знак согласия.

Пока она накрывала на стол, мать, устроившись в кресле и широко расставив ноги под запахнувшимся халатом, молча следила за ней, а потом заметила:

– До чего ж приятно с тобой повидаться! Ты ведь у меня совсем не бываешь.

– Я приезжала сюда три дня назад, – спокойно возразила Пэтти и отвернулась к кухонной стойке, потому что перед глазами у нее стояли сильно поредевшие волосы матери – можно сказать, уже и череп просвечивает, – а на душе и вовсе кошки скребли. Наконец она вернулась к обеденному столу и, придвинув себе стул, решительно сказала: – Придется нам с тобой все-таки снова обсудить твой переезд в «Золотой лист». Хотя мы не раз об этом говорили, помнишь? – Мать медленно покачала головой. На лице у нее было явственно написано смущение. – Ты сегодня одевалась? – спросила Пэтти.

Мать потупилась и некоторое время внимательно изучала свои колени, едва прикрытые купальным халатом, потом вскинула на Пэтти глаза и заявила:

– Нет!

* * *

Со своим будущим мужем Пэтти познакомилась в Сент-Луисе на конференции, посвященной теме воспитания детей из малоимущих семей. Себастьян к этому ни малейшего отно-

шения не имел, хотя тоже приехал сюда, но в качестве инженера-механика. Случайно они с Пэтти оказались соседями по гостиничным номерам. «И снова здравствуйте!» – воскликнула Пэтти, в очередной раз выходя в коридор одновременно с ним. Тем более накануне вечером они точно так же, то есть одновременно, входили – каждый в свою дверь. Что в нем было особенного, она вряд ли смогла бы объяснить, но почему-то он вызывал у нее ощущение покоя и абсолютной безопасности. Она уже тогда начинала набирать вес из-за постоянного приема антидепрессантов, а кроме того, в ее жизни произошла одна неприятная история, когда она отменила собственную свадьбу всего за несколько недель до назначенного дня. Кстати, в те первые дни знакомства, когда они с Себастьяном всего лишь иногда перебрасывались парой слов в коридоре гостиницы, он даже ни разу толком не взглянул на нее. А вот Пэтти сразу оценила его приятную наружность – высокий рост, стройную фигуру, красивое продолговатое, хотя и довольно мрачное лицо, длинные, почти до плеч волосы, густые брови, практически сливающиеся на лбу в одну линию, и глубокие, прячущиеся в тени бровей глаза. Честно говоря, Себастьян ей *очень понравился*. Так что к концу конференции она раздобыла его электронный адрес, и с тех пор началась их невероятная переписка, которой она не забудет никогда в жизни. Всего через несколько недель он написал ей: *Пэтти, если ты хочешь, чтобы мы и впредь оставались друзьями, тебе необходимо кое-что узнать обо мне*. А потом, еще через несколько дней, пояснил: *Со мной происходили ужасные вещи. Ужасные. Из-за них я стал не таким, как другие люди*. Он тогда жил в штате Миссури, и когда она написала ему и попросила приехать в Карлайл, штат Иллинойс, то страшно удивилась тому, что он сразу согласился. Ну, а потом они больше не расставались. Откуда ей тогда было знать – да она ничего и не знала, – что в течение всего детства Себастьяна насиловал отчим, а в результате даже теперь общение с людьми дается ему с огромным трудом? И все же вскоре после начала их совместной жизни он однажды очень внимательно посмотрел на Пэтти и вдруг стал подробно рассказывать ей о том, что с ним случилось, а потом признался: «Я люблю тебя, Пэтти, но заниматься с тобой *этим* не могу. Я вообще не могу *этим* заниматься, хотя мне бы очень хотелось». И она ответила: «Ничего страшного, я ведь *этого* тоже совершенно не выношу».

В первую брачную ночь, лежа в постели, они просто держались за руки. И впоследствии тоже никогда никаких других шагов не предпринимали. Хотя Себастьян часто, особенно в первые годы их совместной жизни, преследовали страшные, мучительные сны. Он метался в постели, брыкался, сбрасывал на пол простыни и одеяла, пронзительно кричал, очень пугая Пэтти. И она заметила, что во время этих сновидений он всегда бывал сексуально возбужден. Однако она никогда не забывала о том, что ей можно всего лишь погладить его по плечу или по лбу и постараться успокоить, шепнув на ушко: «Все хорошо, милый, все хорошо». Очнувшись, он остановившимся взглядом смотрел в потолок, крепко сжимая кулаки, а потом говорил Пэтти: «Спасибо тебе». И, уже повернувшись к ней лицом, все повторял: «Спасибо тебе, Пэтти, спасибо».

– Ну, рассказывай, рассказывай, как ты? Дай тобой надышаться, – говорила мать, засовывая в рот большой кусок мясного рулета.

– У меня все хорошо. Завтра вечером мы встречаемся с Анджелиной. Ее муж бросил. – Пэтти положила на ломоть мяса картофельное пюре, а сверху еще и кусок сливочного масла.

– Не знаю, о ком ты говоришь. – Мать отложила вилку и лукаво посмотрела на Пэтти.

– Об Анджелине. Одной из сестер Мамфорд.

– А-а-а, – протянула мать, медленно кивая, – теперь поняла. Их мать звали Мэри Мамфорд. Ну да, конечно. Так себе особа.

– Ничего не «так себе»! Анджелина – вообще великий человек. А ее мать мне всегда казалась очень милой.

– Она и впрямь была *милая*, ничего не скажешь. Но в целом так себе. По-моему, родом она была из штата Миссисипи. А замуж вышла за богатенького сына этих Мамфордов, и родила ему целый выводок девчонок, и денег кучу огребла.

Пэтти открыла рот, собираясь спросить у матери: разве она не помнит, что Мэри Мамфорд несколько лет назад, когда ей было уже за семьдесят, сама бросила своего богатого мужа? Но так и не спросила. И не стала рассказывать, как они с Анджелиной стали подругами – между прочим, как раз из-за *ухода их матерей из дома*.

«Мне тогда очень хотелось его убить, – признавался ей Себастьян, вспоминая о своем кошмарном детстве. – Нет, правда, больше всего мне хотелось его убить». «Ничего удивительного», – сказала Пэтти, а он прибавил: «И мать тоже». И Пэтти снова его поддержала: «И это тоже вполне естественно».

Пэтти окинула взглядом маленькую кухню матери. Там царила безупречная чистота, нигде ни пятнышка, а все благодаря Ольге. Эта женщина, чуть постарше Пэтти, приходила сюда два раза в неделю. И все же пластик на обеденном столе потрескался от старости, особенно на углах, а занавески на окнах, когда-то голубые, совсем выцвели. А еще со своего места Пэтти видела на другом конце коридора в углу гостиной старое синее кресло-мешок, с которым мать даже по прошествии многих лет расставаться ни за что не желала.

А мать всю предавалась – в последнее время с ней это случалось особенно часто – воспоминаниям.

– Ах, какие танцы устраивали у нас в клубе! Боже мой! Как же там было весело! – И мать восхищенно качала головой.

Пэтти положила еще ломтик масла на горячее картофельное пюре, быстренько все это съела, отодвинула от себя тарелку и сказала:

– А Люси Бартон мемуары написала.

– Что ты сказала? – недопоняла мать, и Пэтти повторила.

– Да, я ее, пожалуй, помню. Они еще в гараже жили, а потом тот старик умер – понятия не имею, кем он им приходился, – и они в дом переехали.

– В гараже? – удивилась Пэтти. – Так, значит, туда мы с тобой ходили? В *гараж*?

Мать ненадолго задумалась.

– Не знаю, не могу вспомнить. Помню только, что она очень недорого брала за работу, вот я и пользовалась ее услугами. А шила она, кстати сказать, замечательно и никогда даже лишнего пятицентовика не просила. – Мать снова немного помолчала. – А знаешь, несколько лет назад я Люси по телевизору видела. Знаменитость! Она вроде бы какую-то книгу написала. Теперь в Нью-Йорке живет. Блеск! Трам-пам-пам.

Пэтти глубоко и несколько судорожно вздохнула. А ее мать снова потянулась за капустным салатом. При этом движении халат на ней совсем распахнулся, и Пэтти на мгновение увидела в вырезе ночной рубашки ее плоскую высохшую грудь. Они посидели еще немного, потом Пэтти встала, убрала со стола и быстренько вымыла посуду.

– Давай-ка проверим, как ты принимаешь лекарства, – предложила она.

Мать лишь пренебрежительно отмахнулась. Тогда Пэтти принесла из ванной комнаты коробочку с несколькими отделениями, в каждом из которых лежала дневная порция материнских медикаментов. Ей с первого взгляда стало ясно, что со времени ее последнего визита мать ничего не принимала, и она снова принялась объяснять важность каждого из назначенных средств. Мать сказала: «Ладно, ладно, я приму», и взяла те таблетки, которые протянула ей Пэтти.

– Лекарства необходимо принимать регулярно, – внушала ей Пэтти, – иначе ты инсульт заработаешь. – О том, что некоторые из этих таблеток были якобы призваны замедлить у ее матери развитие старческой деменции, она решила даже не упоминать.

– Да не собираюсь я никакой инсульт зарабатывать! Хрен вам, а не инсульт!

– О'кей. Тогда я, пожалуй, пойду. Но скоро снова к тебе загляну.

– Ты оказалась лучшей, – призналась мать, когда Пэтти уже стояла в дверях. – Жаль только, что ты так располнела от этих «приносящих счастье» таблеток, но ты все еще хорошенькая. Уверена, что тебе уже пора.

И лишь бредя по подъездной дорожке к машине, Пэтти не выдержала и в полный голос простонала:

– О, боже мой!

* * *

Солнце село, а когда Пэтти проехала примерно половину пути и успела миновать знакомые ветряки, начала всходить полная луна. В ту ночь, когда умер ее отец, тоже было полнолуние, и каждый раз, видя на небе полную луну, Пэтти думала, что, может, это отец смотрит на нее с небес. Отлепив пальцы от руля, она даже слегка помахала ему и прошептала: «Я люблю тебя, папа». И сразу же вспомнила о Сибби – в ее душе образы отца и мужа до некоторой степени сливались. Они оба сейчас были там, наверху, и оба смотрели на нее, и хотя ей было прекрасно известно, что луна – это сплошные камни и скалы, но в полнолуние ей всегда казалось, что ее любимые мужчины там, далеко в вышине. «Подождите меня», – прошептала она, потому что знала – она всегда это знала, – что после смерти они снова будут все вместе: она, ее отец и Сибби. «Спасибо, папа», – сказала она тихонько, потому что отец только что похвалил ее за постоянную заботу о матери. Теперь он стал щедр на похвалы – смерть подарила ему это качество.

Подъехав к дому, Пэтти с удовольствием отметила, как уютно он выглядит благодаря свету в окнах, – привычку оставлять свет в доме включенным она обрела, живя в одиночестве. И все же, когда она положила сумочку на столик в прихожей и прошла в гостиную, то вновь почувствовала себя ужасно одинокой. Ей часто казалось, что она ведет ненастоящую, призрачную жизнь, а сегодняшний день и вовсе выдался на редкость неудачным. Эта Лайла Лейн всю душу ей перевернула! А что, если она на нее донесет, расскажет директору, что Пэтти Найсли назвала ее куском дерьма? Похоже, она вполне на такое способна. Она, пожалуй, даже *готова* это сделать. А Линда, сестра, ничем Пэтти так и не помогла. Звонить другой сестре, которая жила в Лос-Анджелесе, и вовсе не имело смысла: у той вечно не хватает времени на телефонные разговоры. Ну, а мать... ох уж эта ее мать...

– Толстуха Пэтти, – громко произнесла Пэтти.

Потом присела на кровать и огляделась: дом казался ей немного незнакомым, что было – как она давно поняла – весьма неприятным предзнаменованием. Во рту у нее все еще чувствовался вкус мясного рулета, и она решительно сказала себе: «Хватит, Толстуха Пэтти, давай-ка лучше ко сну готовиться», прошла в ванную комнату, вычистила зубы шелковой нитью, а потом еще зубной щеткой, тщательно умылась, ночной крем на лицо нанесла – и тогда ей стало чуточку полегче. Затем она попыталась отыскать свой телефон, раскрыла сумку и обнаружила там купленную днем книжку Люси Бартон. Присев на кровать, она стала рассматривать обложку. На обложке было изображено городское здание, окутанное сумерками, во многих окнах которого горел свет. Пэтти начала читать и через несколько страниц невольно воскликнула: «Ах-ты-боже-мой! Господи!»

* * *

На следующее утро в субботу Пэтти пропылесосила сперва верхний этаж дома, а потом и нижний, затем перестелила постель, постирала, перебрала почту и выбросила бесчисленные

каталоги и рекламные брошюры. Покончив с домашними делами, она поехала в город и купила там продукты и цветы. Она давно не покупала цветов просто так, чтобы поставить их дома. И весь день у нее было на редкость приятное чувство, как в детстве, когда съешь что-нибудь особенно вкусное – любимое печенье или желтую ириску, – и потом еще долго ощущаешь чудесное послевкусие каждой складочкой во рту, каждой трещинкой на языке. Пэтти понимала: это детское ощущение сладости и нежности исходит от прочитанной книги Люси Бартон. Вспоминая о ней, Пэтти то и дело невольно качала головой и бормотала себе под нос: «Ничего себе! Ах-ты-боже-мой!»

Днем она позвонила матери. Трубку сняла Ольга, и Пэтти попросила ее, если можно, приходить к матери каждый день, а не два раза в неделю. Женщина ответила, что ей нужно подумать, а Пэтти сказала, что прекрасно ее понимает. Потом она попросила Ольгу передать трубку матери и услышала, как та спрашивает: «Кто это?» Пэтти быстро проговорила: «Это я, Пэтти. Твоя дочь. Я люблю тебя, мама».

И, помолчав пару секунд, мать откликнулась:

– Ну, так и я тебя тоже очень люблю.

После этого Пэтти пришлось прилечь. Она даже вспомнить не могла, когда в последний раз говорила матери, что любит ее. Хотя в детстве она часто произносила эти слова. Возможно, она произнесла их и в то утро, когда мать согласилась с тем, что Пэтти больше не обязательно состоять в отряде гёрл-скаутов. Пэтти тогда только начинала учиться в старших классах школы, и мать ее поддержала: «Ох, Пэтти, но ведь это совершенно нормально, что ты сама теперь будешь решать подобные вопросы, ты у нас уже взрослая девочка». Она сказала это, стоя посреди кухни и протягивая Пэтти школьный завтрак в бумажном мешочке, и выглядела точно так же, как и всегда. Но в тот день Пэтти вернулась из школы раньше обычного, потому что у нее страшно разболелся живот – у нее тогда часто бывали колики. Войдя в дом, она вдруг услышала очень странные звуки, доносившиеся из родительской спальни. Эти звуки издавала, похоже, мать – она то ли плакала, то ли вскрикивала, задыхаясь и повизгивая. Еще там слышались шлепки, словно ладонью хлопали по голому телу. Перепуганная Пэтти рысью бросилась наверх и, ворвавшись в спальню, увидела мать верхом на мистере Делани – господи, да ведь он преподавал в их классе испанский язык! – и прямо над ним раскачивались в воздухе материны огромные обнаженные груди, а он, шлепая мать по заду, тянулся ртом к этим голым грудям, брал в рот соски, и мать пронзительно вскрикивала. У Пэтти на всю жизнь осталось в памяти и дикое выражение на лице матери, и ее бессмысленный взгляд, и эти вопли, и эти огромные голые груди, и самым ужасным было то, что мать ее *видела*, она *смотрела прямо на нее*, но все же не могла совладать с собой, не могла оборвать те жуткие вопли, что вырывались у нее изо рта.

Пэтти резко повернулась и убежала в свою комнату. А через несколько минут услышала шаги мистера Делани, спускавшегося по лестнице. Потом к ней вошла мать, уже напаявшая домашний халат, и сказала: «Пэтти, богом клянусь, ты меня поймешь, когда станешь старше, но сейчас ты никому, ни одной живой душе не должна рассказывать о том, что видела».

А Пэтти думала о том, что и представить себе не могла, какие у ее матери большие груди, пока не увидела, как они без упряжи раскачиваются над тем мужчиной.

В течение нескольких дней их дом, некогда такой мирный, тихий и заурядный – хотя сама Пэтти так больше не считала, – сотрясали чудовищные скандалы. Пэтти, впрочем, действительно никому не сказала о том, что видела – да у нее и нужных слов для этого не нашлось бы, – но в класс мистера Делани она больше не вернулась. А потом – ох, это и впрямь стало полной неожиданностью! – ее мать не выдержала и после бурного объяснения с мужем переехала в крошечную квартирку в городе. Пэтти лишь однажды ездила туда ее навестить, и там в углу уже стояло это синее кресло-мешок. Весь город судачил об интрижке ее матери с мисте-

ром Делани, и эти пересуды вызывали у Пэтти ощущение, словно ей отрезали голову, и теперь ее голова и тело движутся в противоположных направлениях. Более странного ощущения она никогда не испытывала, и что самое ужасное, оно никак не желало ее покинуть. Пэтти и ее сестры видели, как плакал отец, видели, как он ругался и сыпал проклятьями, а потом его лицо будто окаменело. Раньше подобные проявления чувств ему совершенно не были свойственны: он никогда не плакал, не ругался, не каменел лицом. И теперь, когда он стал таким, Пэтти казалось, будто их семья некогда мирно плывшая в одной лодке по спокойным водам озера, попросту исчезла, растворилась в воздухе, превратилась в нечто невообразимое. А пересуды в городе продолжались. И Пэтти, поскольку она была самой младшей, пришлось пережить это дольше всех. Перед рождественскими каникулами мистер Делани уехал из города, и мать Пэтти осталась одна.

Когда Пэтти начала ходить с мальчишками из своего класса на кукурузные поля, да и потом, гораздо позже, когда у нее появились настоящие бойфренды, она, занимаясь *этим*, всегда видела одно и то же: ее мать, голая, без рубашки и бюстгалтера, нависает над тем человеком, и ее огромные груди раскачиваются в воздухе, а он хватается их ртом... Нет, это было невыносимо! И Пэтти страшно мучилась, и собственное сексуальное возбуждение всегда вызывало у нее чудовищное, ужасавшее ее само чувство стыда.

* * *

Анджелина по-прежнему казалась стройной и молодой, хоть и была на несколько лет старше Пэтти. Но, мельком увидев себя и Анджелину в зеркале, когда они зашли в кафе к Сэму, Пэтти подумала, что сейчас, пожалуй, она выглядит значительно моложе Анджелины – похоже, та была до предела измотана. Пэтти хотела сразу начать рассказывать о книге Люси Бартон, но не успели они усесться за столик, как зеленые глаза подруги наполнились слезами, и Пэтти, наклонившись над столом, погладила ее по руке. Анджелина подняла палец, призывая помолчать, через минуту сумела взять себя в руки и, вновь обретя способность говорить, выпалила:

– Я их *обоих* ненавижу! – Пэтти тут же сказала, что прекрасно ее понимает, и Анджелина продолжила: – Представляешь, он мне заявил: «Ты влюблена в родную мать!» Да я просто онемела от изумления. Только смотрела на него и слова вымолвить не могла...

– Боже мой... – вздохнула Пэтти и уселась поудобнее.

Несколько лет назад семидесятичетырехлетняя мать Анджелины покинула родной город – и собственного мужа! – и уехала в Италию, чтобы выйти замуж за человека почти на двадцать лет ее моложе. Пэтти искренне сочувствовала Анджелине. Но в данную минуту ей хотелось сказать: «Послушай! Мать обращалась с Люси Бартон ужасно, а отец – о господи, ее отец... И все-таки Люси их *любила!* Да, она любила свою мать, и та тоже ее любила! У всех нас в семейных отношениях полная неразбериха, хоть мы и стараемся изо всех сил, но любим мы друг друга как-то *неправильно*, и, в общем, ничего страшного в этом нет...»

Пэтти страшно хотелось поделиться этими мыслями, но она чувствовала, какими жалкими – почти глупыми – могут показаться Анджелине ее слова. Она промолчала и стала слушать рассказы подруги: о ее детях, которые учатся в колледжах и вот-вот вылетят из родного гнезда; о ее матери, живущей в Италии и пишущей дочерям электронные письма (у Анджелины было еще четыре сестры); о том, что одна лишь она, Анджелина, до сих пор так и не навестила мать, но все же подумывает об этом и, скорее всего, съездит к ней этим летом.

– Да, съезди, конечно! – с энтузиазмом откликнулась Пэтти. – Обязательно съезди. По моему, тебе давно следовало это сделать. Понимаешь, Анджелина, она ведь уже *совсем старая*.

– Да, я понимаю.

Пэтти было ясно, что больше всего подруге хочется рассказать о себе самой, но ее, Пэтти, это почему-то совершенно не раздражало. Она отметила это про себя, и все. И потом, она отлично понимала Анджелину. Ведь на самом деле, думала она, каждый больше всего заинтересован в себе самом. Исключение, пожалуй, составлял ее Сибби: его больше всего интересовала именно она, Пэтти, да и он ей тоже был безумно интересен. И это – любовь человека, с которым ты делишь жизнь, – было для каждого из них, словно вторая кожа, защищавшая их от внешнего мира.

Лишь через некоторое время, когда Пэтти допивала второй бокал белого вина, ей все-таки удалось рассказать Анджелине о Лайле Лейн, да и то не все – лишь о том, что, по словам ученицы, в школе ее прозвали «Толстухой Пэтти» и считают девственницей. И только после этого она решилась перейти к мемуарам Люси Бартон.

– А знаешь, Люси Бартон написала... – начала она, но Анджелина ее прервала:

– Ох, не слушай всякую чушь! – воскликнула подруга. – Ты такая же хорошенькая, как и раньше, Пэтти. И тебе, ей-богу, никто не мог дать такого прозвища.

– Очень даже мог!

– Ну, я, во всяком случае, от своих ребят ничего подобного не слышала, а ведь мне целыми днями приходится их болтовню слушать. И вообще, Пэтти, ты еще вполне можешь познакомиться с каким-нибудь хорошим мужчиной. Ты же такая милая. Правда-правда.

– Чарли Маколей – вот единственный мужчина, который меня интересует, – призналась вдруг Пэтти. А все из-за того, что она слишком много выпила.

– Ты что, Пэтти, он же старик! И потом, он совершенно безнадежен!

– С чего ты решила, что он совершенно безнадежен?

– Ну, он ведь во Вьетнаме воевал и вообще... И потом, у него, знаешь ли, ужасное ПТСР².

– Правда?

Анджелина слегка пожала плечами.

– Мне так сказали. Не помню, правда, кто. Это давно было. Нет, не помню. А его жена... Хотя, в общем, шанс у тебя есть.

Пэтти засмеялась.

– Мне, кстати, его жена всегда казалась очень милой.

– Ох, да ладно тебе! Тошная старуха и вечно на взводе! А что касается Чарли, то уверяю тебя: ты его запросто подцепить сумеешь!

«Лучше б я ей вообще ничего не говорила», – подумала Пэтти.

Но Анджелина, похоже, сомнений подруги не заметила. Ей хотелось поговорить с Пэтти о себе – и о своем муже, разумеется.

– Я ему тут как-то вечером позвонила и напрямик спросила: «Ты вообще-то собираешься со мной развестись?» А он в ответ: «Нет, не собираюсь!» Представляешь? Ну и я перестала пока эту тему поднимать. Не понимаю, почему он вроде бы и ушел от меня, а разводиться не хочет? Ох, Пэтти!

На парковке они обнялись, поцеловались и еще немножко постояли, крепко обнявшись. Потом Анджелина прыгнула в машину и крикнула в окошко:

– Я тебя люблю!

– И я тебя, – сказала Пэтти.

Обратно Пэтти ехала очень осторожно. От выпитого вина все ее чувства были особенно обострены, хотя вообще-то пить ей не полагалось, поскольку она постоянно принимала антидепрессанты. Зато сейчас у нее было такое ощущение, словно душа и разум настолько расширились, что способны одновременно пропустить сквозь себя множество самых разных вещей.

² Посттравматическое стрессовое расстройство.

Она вспомнила Себастьяна и подумала: интересно, знал ли еще кто-нибудь о том, чего не знала даже она, пока Сибби сам ей об этом не рассказал – обо всех тех невообразимых ужасах, которые с ним творили в детстве? Она только сейчас вдруг задумалась о том, было ли это заметно. Да, кое-что наверняка было. И Пэтти вспомнила, как однажды, когда они с мужем выходили из магазина одежды, она случайно услышала, как один молодой продавец говорит другому: «Он же при ней, словно собака».

В своих мемуарах Люси Бартон высказала мысль о том, что люди всегда стремятся почувствовать собственное превосходство по отношению к кому-то другому, и Пэтти была полностью с Люси согласна.

Сегодня вечером луна оказалась почти у Пэтти за спиной. Она все время видела ее в зеркало заднего вида и даже несколько раз ей подмигнула. А потом почему-то вдруг вспомнила свою сестру Линду. И ее слова о том, что она не может понять, как Пэтти может работать с подростками. Ну что ж, покачала головой Пэтти, Линда никогда этого не понимала. Этого никто никогда не понимал, кроме Себастьяна. После его смерти Пэтти пришлось посетить психотерапевта. Она надеялась, что сможет все рассказать этой женщине-врачу. Но психотерапевт, одетая в темно-синий блейзер и сидевшая за большим письменным столом, сразу стала выяснять у Пэтти, как она отнеслась к разводу родителей. Плохо, ответила Пэтти, а потом все никак не могла найти какой-нибудь предлог, чтобы больше к этой женщине не ходить. И в итоге попросту солгала, сказав, что подобные визиты ей больше не по карману.

Подъезжая к своему дому, где, как всегда, горел специально оставленный ею свет, Пэтти вдруг осознала, что лучше всех ее «понимала» книга Люси Бартон. Да-да, именно книга! Она понимала ее, точно была живым существом. Потому-то после ее прочтения Пэтти и чувствовала во рту тот же сладкий вкус, как в детстве, от желтых ирисок. Ведь и у Люси Бартон был собственный стыд. О да, стыда в ее жизни хватало с избытком! Однако она сумела все это преодолеть, подняться над этим. «Вот именно!» – буркнула Пэтти себе под нос, выключила двигатель, но потом еще немного посидела в машине, прежде чем вылезти и пойти домой.

* * *

Утром в понедельник Пэтти оставила у классного наставника записку для Лайлы Лейн, в которой просила девочку после уроков зайти к ней, и очень удивилась, когда уже на следующей перемене увидела ее на пороге своего кабинета.

– Здравствуй, Лайла. Проходи, пожалуйста. Садись.

Девушка вошла в кабинет, опасливо поглядывая на Пэтти, и почти сразу заговорила:

– Голову даю на отсечение – вы ведь хотите, чтобы я извинилась, да?

– Нет, ничего подобного. Я попросила тебя зайти ко мне сегодня, потому что в прошлый твой приход я назвала тебя куском дерьма.

Лайла явно смутилась, и Пэтти повторила:

– Когда ты на той неделе ко мне заходила, я назвала тебя куском дерьма, не так ли?

– Правда? – удивилась девушка. И медленно села.

– Правда. Назвала.

– Я не помню. – В растерянном голосе Лайлы не осталось ни капли былой воинственности.

– После того как ты спросила, почему у меня нет детей, и сказала, что я девственница, и назвала меня Толстухой Пэтти, я назвала тебя куском дерьма.

Девушка с подозрением посматривала на нее и молчала.

– Ну, так вот: ты не кусок дерьма. – Пэтти сделала паузу, выжидая, но Лайла по-прежнему молчала, и Пэтти продолжила: – Я ведь выросла в Хэнстоне, и мой отец работал управляющим на ферме по производству кормовой кукурузы, так что денег нам хватало. В общем, как ты бы

сказала, мы были в шоколаде. И я не имею никакого права называть куском дерьма ни тебя, ни кого бы то ни было еще!

Лайла пожала плечами.

– На самом деле я и есть кусок дерьма, – сказала девушка.

– Нет, *ничего подобного*.

– Но вы, по-моему, тогда очень на меня рассердились.

– Естественно, я рассердилась. Ты вела себя на редкость грубо. И все равно я не имела права оскорблять тебя.

Девушка устало на нее посмотрела; под глазами у нее были темные круги.

– На вашем месте я бы не стала так из-за этого переживать. Я бы постаралась вообще больше об этом не думать.

– Послушай, – сказала Пэтти. – У тебя отличные оценки. С такими баллами ты легко могла бы поступить в колледж, если б захотела. Ты хочешь дальше учиться?

На лице Лайлы отразилось невнятное удивление. И она, пожав плечами, пробормотала:

– Не знаю...

– Мой муж тоже всю жизнь считал себя куском дерьма.

Девушка вскинула на нее глаза. Помолчала немного и робко сказала:

– Правда?

– Правда. Из-за того, что с ним когда-то случилось.

Лайла долго смотрела на Пэтти, и ее огромные глаза были печальны. Потом она протяжно вздохнула и сказала:

– О господи, ну и дела. Вы меня, в общем, простите. Мне очень жаль, что я такие гадости про вас говорила. Это все самая что ни на есть дерьмовая чушь.

– Ничего, тебе ведь всего шестнадцать.

– Пятнадцать.

– Тем более. Тебе пятнадцать, а я гораздо старше, значит, именно я вела себя неправильно.

И тут Пэтти с изумлением заметила, что по щекам Лайлы катятся крупные слезы и она смахивает их рукой.

– Я просто устала, – сказала девушка. – Я очень устала.

Пэтти встала, подошла к двери, закрыла ее и вернулась к Лайле.

– Перестань, милая, лучше послушай меня. Я могу кое-что для тебя сделать, девочка. Могу, например, помочь тебе поступить в колледж. Деньги найдутся. Оценки у тебя очень хорошие, как я уже говорила. Я просто удивилась, когда увидела, какие хорошие у тебя оценки. Да и другие показатели у тебя очень высокие. У меня вот никогда не было таких хороших оценок, но в колледж я все-таки поступила, потому что мои родители могли себе это позволить. А теперь я могу помочь тебе продолжить образование.

Девушка, закрыв лицо руками, уронила голову на стол. Плечи ее вздрагивали. Лишь через несколько минут она смогла поднять залитое слезами лицо и, глядя на Пэтти, сказала:

– Вы уж извините меня. Но когда со мной кто-нибудь по-хорошему... Господи, да меня это просто убивает!

– Ничего, все нормально.

– Нет, не нормально! – И Лайла снова заплакала, теперь уже не сдерживаясь и громко всхлипывая. – Господи, да что же это такое! – сказала она, обеими руками размазывая льющиеся слезы.

Пэтти подала ей бумажную салфетку.

– Все у нас с тобой будет хорошо, точно тебе говорю. Все будет очень даже хорошо.

* * *

Крыльцо почтового отделения было залито ярким солнечным светом. Пэтти поднялась по ступенькам и почти сразу увидела внутри Чарли Маколей.

– Привет, Пэтти, – кивнул он.

– Привет, Чарли Маколей, что-то мы в последнее время то и дело с тобой встречаемся. Как поживаешь?

– Живу помаленьку. – И он направился к двери.

Пэтти открыла свой почтовый ящик, вытащила из него корреспонденцию, и ей показалось, что Чарли уже ушел. Но, выйдя на крыльцо, она увидела, что он все еще сидит на ступеньке, и, сама себе удивляясь – хотя, в общем, ничего особенно удивительного в этом не было, – присела с ним рядом.

– Ого, – сказала она, – подняться-то я, пожалуй, теперь и не смогу.

Ступенька была цементная и холодная как лед; Пэтти чувствовала этот холод даже сквозь брюки, хотя солнце и светило всюду.

– Ну так и не вставай, – пожал плечами Чарли. – Давай просто посидим.

Позднее, через много лет, Пэтти будет перебирать в памяти воспоминания об этом дне – как они с Чарли сидели на ступеньках крыльца, и обоим казалось, что они словно выпали из времени; как на той стороне улицы за скобяной лавкой стоял какой-то дом, выкрашенный голубой краской, и вся его боковая стена была залита полуденным солнцем; как она тогда вдруг вспомнила те белые ветряные мельницы, такие высокие, с длинными худыми руками, которые хоть и вращались постоянно, но всегда в разные стороны, лишь изредка случалось, что две-три из них начинали вращаться в унисон, синхронно вздымая в небо длинные лопасти.

А тогда Пэтти и Чарли какое-то время сидели молча, потом он спросил:

– Как поживаешь, Пэтти? Нормально?

– Да, у меня все нормально. Все хорошо. – Она повернулась и посмотрела на него. Ей показалось, что глаза у Чарли такие невероятно глубокие, словно смотрят не на тебя, а куда-то в себя, вглубь, навсегда отвернувшись от мира.

Они еще немного помолчали.

– Ну да, ты ведь девушка со Среднего Запада, а значит, в любом случае скажешь, что у тебя все хорошо. Хотя, может, и не всегда твои дела так уж хороши.

Пэтти ничего ему на это не ответила. Она смотрела на него и видела, что чуть повыше кадыка у него торчит несколько седых волосков, явно пропущенных во время бритья.

– Ты, конечно, вовсе не обязана рассказывать мне, хороши твои дела или нет, – произнес Чарли, глядя прямо перед собой. – И я, разумеется, расспрашивать тебя не собираюсь. Я просто хотел сказать, что иногда... – он снова повернулся, посмотрел ей прямо в глаза, и Пэтти увидела, что глаза у него светло-голубые, – ...иногда бывают моменты, когда в жизни у тебя далеко не все так хорошо, как ты стараешься показать. Уж я-то, черт побери, точно знаю, что в жизни всякое бывает.

Ох, как ей хотелось что-то ему ответить, как хотелось накрыть его руку своей! Ведь это о себе он сейчас говорил. «Ох, Чарли, я так тебя понимаю» – вот что хотелось ей сказать, но она продолжала молчать. Так они и сидели рядышком на крыльце. Мимо по Мейн-стрит проехала машина, потом еще одна. Пэтти наконец не выдержала:

– А Люси Бартон мемуары написала.

– Люси Бартон? – Чарли, прищурившись, смотрел прямо перед собой. – Ну да, ребяташки Бартон, господи, как же, помню, помню. И того бедолагу помню, самого старшего из них... – Он даже головой слегка покачал. – Боже мой, вот ведь не повезло ребятам! Господи,

ты боже мой, как же им не повезло! – Он посмотрел на Пэтти. – Наверное, это очень грустная книга?

– Всего нет. По крайней мере мне она грустной не показалась. – Пэтти немного подумала, потом пояснила: – Мне после нее даже как-то легче стало, и я не такой одинокой себя почувствовала.

Чарли покачал головой.

– О нет. Нет, мы всегда одиноки.

Они еще довольно долго сидели, храня дружелюбное молчание, а солнце изливало на них свои горячие лучи.

– И все-таки мы *не всегда* одиноки, – заметила Пэтти.

Чарли повернулся, посмотрел на нее, но так ничего и не сказал.

– Могу я спросить тебя? Люди действительно считали моего мужа странным?

Чарли снова немного помолчал, словно обдумывая ответ.

– Возможно. Только я в последнюю очередь узнаю о том, что думают здешние жители.

По-моему, Себастьян был очень хорошим человеком. Страдальцем. Да, он очень страдал.

– О да. Он очень страдал, – кивнула Пэтти.

– Мне очень жаль, что это так.

– Я знаю, что тебе действительно жаль.

Солнце щедро плеснуло целую волну яркого света на тот голубой дом, что виднелся из-за скобяной лавки.

Прошло довольно много времени, прежде чем Чарли снова повернулся, посмотрел на Пэтти и открыл было рот, явно собираясь что-то сказать, но, видно, передумал: покачал головой и снова закрыл рот. И Пэтти почувствовала – хотя, конечно, не могла быть полностью в этом уверена, – что ей понятно, какие слова чуть не сорвались у него с языка.

И, понимая это, она легко и ласково коснулась его руки, и они остались сидеть рядом на солнышке.

Вдребезги

Когда Линда Петерсон-Корнелл увидела женщину, которая целую неделю будет жить у них дома, она подумала: «О, это как раз то, что надо». Женщину звали Ивонна Таттл, а привела ее к ним еще одна участница фотовыставки, Карен-Люси Тот, которая молча стояла рядом с Ивонной и ждала, пока та познакомится с Линдой. Ивонна была очень высокая, с волнистыми каштановыми волосами до плеч, и, пожалуй, лет десять назад ее легко можно было бы назвать хорошенькой. Но теперь голубизна ее глаз успела несколько померкнуть, на лице появились первые морщинки, а под глазами пролегли темные круги. И потом, думала Линда, эта Ивонна явно злоупотребляет косметикой. Столько краски на лице сорокалетней женщины – самой Линде было пятьдесят пять – это же вульгарно. А дешевые сандалии на пробковой танкетке? Во-первых, они ей не идут, а во-вторых, делают ее еще выше ростом, хотя куда уж выше. По этим сандалиям Линда легко догадалась, что юность Ивонны, скорее всего, прошла в бедности. Обувь всегда тебя выдаст!

Дом Линды и Джея Петерсон-Корнеллов окружал сад, где стояли две скульптуры Александра Колдера – обе были помещены по одну сторону от большого ярко-голубого бассейна. В самом доме, в гостиной, на стене висели две картины Пикассо и Эдварда Хоппера. И в дальнем конце широкого покатога коридора, ведущего в гостевые комнаты, имелся еще ранний Филипп Густон³.

– Идемте, – пригласила Линда и пошла вперед.

Ивонна и Карен-Люси последовали за ней по коридору, плавно огибавшему угол и выходящему к довольно длинному, застекленному переходу, за которым и находилась гостевая комната. Линда кивком дала служанке понять, что та свободна, и теперь молча ждала, что Ивонна оценит обстановку и выскажет свое мнение. Но Ивонна тоже молчала и все продолжала неуверенно озираться, по-прежнему сжимая ручку чемодана на колесиках, а ведь их дом, как казалось Линде – даже если кто-то и не знает, чьи картины висят здесь на стенах (странно все-таки, что Ивонна, фотограф, не узнает работы таких знаменитых авторов!), – и сам по себе, безусловно, заслуживал не просто внимания, но и самых лестных комментариев. Несколько лет назад дом обновили и в значительной степени перестроили. Архитектор, можно сказать, всю душу в него вложил. Стены гостевой комнаты, например, были целиком из стекла.

– А где же дверь? – наконец спросила Ивонна.

– А двери здесь нет, – сказала Линда.

Хотя могла бы и пояснить, что Ивонне нет необходимости беспокоиться: никто ее личное пространство не нарушит, поскольку они с мужем обитают исключительно наверху, в передней части дома. К тому же на заднюю часть их дома и на окружающий ее сад не выходит ни одно соседское окно. Но ничего этого Линда говорить не стала. Вместо этого она молча продемонстрировала Ивонне гостевую ванную комнату в форме буквы «V», находившуюся напротив и также лишенную каких бы то ни было дверей или перегородок. В ней не было ни душевой кабины, ни хотя бы занавески. Шланг с насадкой для душа просто торчал из стены. Пол выложили плиткой, чтобы лучше стекала вода.

³ Александр Колдер (1898–1976) – американский скульптор, известен замысловатыми фигурами из проволоки и так называемыми мобилями – кинетическими скульптурами, которые приводятся в движение ветром или электричеством. Пабло Пикассо (1881–1973) – французский живописец, по происхождению испанец, исповедовавший несколько направлений художественного творчества, в частности, являлся основоположником кубизма (вместе с Ж. Браком). Работал также как график, скульптор и керамист. Эдвард Хоппер (1882–1967) – американский художник, один из крупнейших урбанистов XX века. Филипп Густон (наст. имя Ф. Гольдштейн) (1913–1980) – американский художник. Родился в семье еврейских эмигрантов, выходцев из России (Одесса). Выразитель идей абстрактного экспрессионизма.

– Никогда ничего подобного не видела, – призналась Ивонна, и Линда объяснила, что все так говорят.

Все это время Карен-Люси Тот безмолвно стояла рядом с Ивонной. Карен-Люси считалась на летних фотофестивалях самым известным автором и приезжала сюда каждый год. Линда знала, что именно Карен-Люси просила организаторов фестиваля дать возможность Ивонне Таттл участвовать в нем, а также позволить ей провести несколько открытых уроков для желающих. Организаторы дали согласие, хотя портфолио Ивонны и не произвело на них особого впечатления: здесь обычно выставлялись работы очень высокого уровня. Однако потерять Карен-Люси никому из организаторов не хотелось: студенты ее просто обожали, а ее работы были всем хорошо известны. Немаловажен также был и тот факт, что три года назад муж Карен-Люси покончил с собой, бросившись с верхнего этажа отеля «Шератон» в Форт-Лодердейле. Так что теперь ей, по мнению Линды, прощалось все, в том числе и определенная невежливость. Например, она, Линда, только что спросила у Карен-Люси: «Вы ведь тоже никогда прежде у нас в доме не бывали, не так ли?», и Карен-Люси – она была такая же высокая, как Ивонна, и волосы у нее тоже были волнистые и темно-каштановые, так что женщины, как показалось Линде, вполне могли бы быть сестрами – лишь буркнула в ответ со своим жутким акцентом типичной жительницы Алабамы: «Нет, никогда».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.